

ЖОВЪИ МИЛ

9

1(9)6(9)

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV

№ 9

Сентябрь, 1969 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ИЗ СОВРЕМЕННОЙ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ: Иван Николов — Городок; Павел Матев — Вновь ты снисься мне...; Недялко Йорданов — Любовь; Иван Давыдков — Фракийские курганы; Елисавета Багряна — Судьба нестинарки; Орлин Орлинов — Иное время...; Радой Ралин — Молитва. Перевели И. Лиснянская, Яков Хелемский, Ирина Озерова, Н. Злотников, Елена Николаевская	3
ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ — Три минуты молчания, роман. Окончание	8
Л. АБДУЛЛИНА — Три стихотворения	96
ВИКТОР НЕКРАСОВ — В жизни и в письмах	98
И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ — Вертушник	126
ИЗ СТИХОВ УЗБЕКСКИХ ПОЭТОВ: Максуд Шейхзаде — Памяти друга, Маяк рижского порта; Хуснитдин Шарипов — Горлинка поет; Абдулла Арипов — Слушая «муноджат», Золотая рыбка; Эгам Рахим — Снова осень над крышами, осень...; Джуманияз Джаббаров — Граница юности. Перевел А. Наумов	128
Б. МОЖАЕВ — Лесная дорога, очерк	132
ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ — Новый год у Дуная, стихотворение	151
Д. САМОЙЛОВ — Предместье, стихотворение	152
 ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ	
А. ЦЕЙТЛИН — Ленин и большевистские публицисты	153
 В МИРЕ НАУКИ	
Д. ЛИХАЧЕВ — Будущее литературы как предмет изучения (Заметки и размышления)	167
 ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
АВЕТИК ИСААКЯН — Ованес Тумазян (К столетию со дня рождения). Предисловие Л. Ахвердяна. Перевела с армянского Нелли Хачатурян	185

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Стр.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ПЕРЕПИСКА И. Е. РЕПИНА и А. И. КУПРИНА (Публикация и комментарии К. А. Куприной) 193

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МИХАИЛА СВЕТЛОВА. Публикация Н. Федосюк 211

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

С. ВЕЛИКОВСКИЙ — После «смерти бога» (О «Постороннем» Альбера Камю) 215

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

233

Яков Хелемский. Беседа продолжается.— **А. Липелис.** Серафим Фролов и другие.— **В. Масловский.** Глазами очевидца.— **В. Кардин.** Верность себе.— **Г. Литинский.** По завещанию отца.

Политика и наука

249

М. Галлай. «Ла» — человек и самолет.— **В. Борзычева.** Статистика труда.— **Н. Коржавин.** «Не природа, а история».— **Е. Гнедин.** Научно-техническая революция в капиталистических странах.— **А. Немировский.** Новые данные к старому спору.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 268

КОРОТКО О КНИГАХ — Материалистическая диалектика и методы естественных наук.— Иван Зубенко. Тополя в соломе.— А. Л. Чижевский, Ю. Г. Шишина. В ритме Солнца.— Владимир Лифшиц. Назначенный день.— Е. И. Регирер. Развитие способностей исследователя.— Сергей Званцев. Миллионное наследство. Рассказы о Таганроге.— А. Н. Копылов. Культура русского населения Сибири в XVII—XVIII вв.— С. Лемешев. Путь к искусству.— А. Л. Монгайт. Надпись на камне

281

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 287



ВИКТОР НЕКРАСОВ

★

В ЖИЗНИ И В ПИСЬМАХ

Когда писатель перестает называться «молодым»? Понять трудно. Лев Толстой написал «Детство», когда ему было двадцать три года, но в «молодых», как у нас теперь принято говорить, по-моему, никогда не ходил. А вот Василий Аксенов или Андрей Вознесенский, несмотря на свои тридцать семь лет, все еще «молодые». Автор этих строк лет до сорока пяти считался «молодым», потом перешел в «среднее поколение». А как перескочить в «старшее»? Что для этого надо? Начать писать мемуары? Взяться за «Историю моего современника» или за «Былое и думы»? (Кстати, начаты они были сорокалетним Герценом.) Ну, а если кишка тонка? Могу ответить точно. Я знаю. Надо начать писать воспоминания о своих встречах со знаменитыми людьми. Это говорит о солидности. Если ты к тому же приведешь в этих воспоминаниях несколько мест из переписки с читателем (не избранных, упаси бог!), то в глазах читателя станешь еще солиднее и смело можешь считать себя «старшим поколением».

По изложенным выше соображениям (мне до сих пор никак не удалось стать солидным) я и осмеливаюсь предложить на суд читателя несколько зарисовок людей, на пути которых я повстречался.

ЛУНАЧАРСКИЙ

На фотографии, датированной 1914 годом, группа детей и взрослых. Это русская школа в Париже. Среди детей узнаю только своего старшего брата Колю в белой рубашечке с галстуком и широким поясом — он-то и учился в этой школе, — своего «друга» Тотошку и самого себя. Мне три года. Рядом со мной моя нянька — бretонка Сесиль. Среди взрослых — моя бабушка и мать в какой-то странной, закрывающей уши прическе тех лет. Мужчины все с бородками и в пенсне. Среди них, тоже с бородкой и в пенсне, в соломенной шляпе, именовавшейся тогда «капотье», — Анатолий Васильевич Луначарский. Его сын — это и есть мой друг Тотошка — тоже здесь, кругломордый пузырь-блондин на коленях у своей няньки.

Жили мы тогда в Париже в одном доме с Луначарским. Мать работала в больнице, превратившейся с началом войны в госпиталь.

Рядом с нашим домом был парк Монсури — он и сейчас есть, но тогда это была самая окраина Парижа, сразу за парком тянулись так называемые фортификации, какие-то допотопные земляные валы, где ежедневно занимались шагистикой наши любимцы-солдаты. Впрочем, мы тоже были их любимцами, и они ничуть не горчались, когда мы набрасывались на них во время их «перекуров».

Мы — это Тотошка Луначарский, Бобос Кристи и я. «Нянькой» нашей был Анатолий Васильевич. Пока мы возились и дрались — а дрались, говорят, мы с Тотошкой отчаянно, вцепляясь друг другу в волосы, — а Бобос нас разнимал, Анатолий Васильевич спокойно сидел на скамеечке и писал или правил свои статьи.

Из фотографий тех лет сохранилось еще несколько, и среди них одна — наша тройка и моя двоюродная сестра Лена. Я долго тихо ненавидел эту фотографию — мальчики как мальчики, в каких-то штанишках и фуфайках, девочка как девочка, а я ни то ни се — бархатное платьице (!) с кружевным воротничком и длинные золотые локоны до плеч. Тыфу! Противно было смотреть...

Как писал Анатолий Васильевич на скамеечке свои статьи — я не очень-то помню, нам интереснее было драться или кормить в пруду лебедей и уток, называвшихся у нас тогда «лэ га-га». Зато ярко до сих пор помню Луначарского в виде некоей помеси деда-мороза и черта на одной из детских елок. Он напялил на себя мамину меховую, козлиного меха, шубу, приделал какие-то рога и даже, по-моему, хвост и очень пугал и веселил нас.

Потом началась война. Солдаты с фортификаций исчезли, а в небе появились немецкие цеппелины. Как-то ночью мне его даже показали — я все клянчил, чтоб мне показали, — но, кроме лучей прожекторов, я ничего не увидел. Но и этого было вполне достаточно.

Где-то в начале 1915 года мы через Англию и Швецию вернулись домой и осели в Киеве. Луначарские и Кристи покинули Францию чуть позже и ехали тоже морем, только южным путем, через Грецию, и обосновались в Москве.

Встретился я потом с Анатолием Васильевичем один только раз, через пятнадцать лет после парка в Монсуре, в 1929 году. До этого заходил к нему, вернее к Тотошке, когда обоим нам было лет по четырнадцать — пятнадцать. Жили они тогда в Кремле, куда я попал в первый раз и где, снисходительно руководимый местным аборигеном Тотошкой, впервые увидел царь-колокол и царь-пушку. Папы в тот день дома не было. Мы с Тотошкой побежали в Третьяковку — я туда попал тоже в первый раз — и там, помню, долго, до слез хохотали над коненковскими старишками-лесовичками. Других воспоминаний о моем первом знакомстве с Третьяковкой у меня не сохранилось.

В 1929 году я поехал к Луначарскому по настоянию своих родителей. Дело в том, что в этом году я не попал в Художественный институт. Доброжелатели мои объясняли мой провал неподходящим, мол, социальным происхождением, я же твердо знал, что произошло это совсем по другой причине. Просто на экзамене надо было сделать портрет маслом, а я умел только рисовать, и один-единственный и первый в жизни урок живописи (за день до экзамена) вряд ли мог спасти положение. Нечто мерзко зеленое, беспомощно размазанное по холсту, должно было повергнуть в ужас приемную комиссию (что, по-видимому, и произошло), а передо мной навеки захлопнуть двери Художественного института.

И вот тут-то, очевидно, те же доброжелатели посоветовали моим родителям обратиться за помощью к бывшему нашему соседу по рю Роли, 11. Записка, в которой отмечались мои «недюжинные архитектурные способности», адресованная ректору института, сохранилась у меня до сих пор и сыграла, думаю, свою роль на следующий год, когда я держал экзамен уже не в Художественный, а в Строительный институт.

Записка эта и послужила поводом для моего визита к Анатолию Васильевичу. Надо было, воспользовавшись поездкой в Москву (я рабо-

тал тогда на постройке Киевского вокзала и имел бесплатный железнодорожный билет), зайти и поблагодарить свою бывшую «няньку» за помощь. Кстати, до этого Луначарский дважды (в 1924 и 1928 годах) давал моей бабушке рекомендации для поездки в Швейцарию к младшей своей дочери Вере, вышедшей там замуж и в России больше уже никогда не бывавшей. Помню, что в рекомендациях этих меня больше всего поразило, что в характеристике, данной Анатолием Васильевичем бабушке, сказано было, что она «лояльна» по отношению к советской власти. Лояльна? Ведь это значит только «терпимо», не больше... Заглянув в словарь и с радостью обнаружив, что в понятие это входит и «доброжелательность», я успокоился.

Итак, 25 декабря 1929 года я с трепетом душевным вошел в лифт большого шести- или семиэтажного дома в Денежном переулке, поднялся на самый верх и нажал кнопку в дверях с табличкой: «Председатель комитета по заведованию учеными и учебными учреждениями Анатолий Васильевич Луначарский».

Отворила мне дверь горничная. Я отрекомендовался, и буквально через минуту в прихожей появился хозяин с салфеткой на шее.

— А, Виктор! — с ударением на «о», по-французски, приветливо и весело сказал он. — Очень рад! И очень кстати! Мы как раз обедаем...

Я приглашен был к столу с белоснежной скатертью и множеством тарелок и тарелочек, познакомлен с женой, хорошо известной мне по кинофильмам «Мисс Менд» и «Медвежья свадьба», Наталией Александровной Розенель, и накормлен вкуснейшим обедом. Потом, дома, меня, конечно, спрашивали, чем же кормили, но я ничего не запомнил, кроме обилия фарфора, разных ножичков и вилочек и того, что боялся больше всего, как бы не нарушить этикет и взять не то и не так, как надо.

Разговор за столом был оживленный, но касался в основном бабушки и мамы.

— Подумай, — смеясь, говорил жене Анатолий Васильевич, — ведь у этого молодого человека, когда я его пас в Монсуре, были совершенно золотые локоны, как у маленького лорда Фаунтлероя.

Меня, хотя мне было уже восемнадцать лет, это сравнение явно покоробило — меньше всего я хотел когда-либо и чем-либо походить на лорда, поэтому даже не без умысла пришел к бывшему наркому в какой-то застиранной бумазейной рубашке с поясом поверх, чем поверг в ужас моих родителей. «Неужели не мог поприличнее одеться? Взял бы у кого-нибудь белую рубашечку, пиджачок. На эту же смотреть стыдно...»

Потом говорили о моих планах на будущее — я твердо решил стать архитектором, — о том, что это очень интересная специальность и что вообще-то студентам этого профиля — слова Наталии Александровны — следовало бы знакомиться с Парфеноном и Римским форумом в натуре, а не только по альбомам.

— Доживем когда-нибудь и до этого, — то ли мягко, то ли горько улыбнулся одними глазами сквозь пенсне Луначарский, — а пока что надо в институт еще поступить. Не так ли, Виктор?

Я хорошо запомнил это «не так ли?» — скорее французский, чем русский оборот речи.

Я самоуверенно заявил, что поступлю обязательно, и, конечно же, ни словом не обмолвился о записке, той самой, из-за которой, собственно, и пришел сюда.

Обед кончился. Анатолий Васильевич повел меня в свой кабинет — очень небольшой, весь от пола до потолка в книгах. Малые размеры это-

то кабинета поразили меня так же, как и грандиозные размеры гостиной с большим, чуть ли не во всю стену, полукруглым окном и, что особенно мне понравилось, с внутренней лестницей, ведущей на какие-то хоры, тоже, как и кабинет, уставленные книгами. Нечто подобное я видел потом в Коктебеле, в доме Волошина. Если я когда-нибудь построю себе дачу или виллу, я обязательно тоже сделаю такую лестницу и хоры.

В кабинете мне были показаны кое-какие книги по искусству, от которых я обалдел, а потом Анатолий Васильевич подошел к полке, покрылся в ней, вынул маленьку беленькую книжечку и вручил ее мне с дарственной надписью. Она у меня тоже сохранилась. Называется «Об антисемитизме».

Почему мне была подарена именно эта книжка, а не какая-нибудь другая, понять не могу до сих пор, но почти сорок лет спустя я невольно вспомнил несколько строк из нее.

Это было 29 сентября 1966 года, в день двадцатипятилетия первого расстрела в Бабьем Яру. Яра, как такового, уже не было и в помине: он был замыт и превратился просто в поросший бурьяном пустырь. И на этом пустыре в этот день собирались тысячи людей, чтоб почтить память расстрелянных здесь родителей, друзей или просто погибших. Люди плали или сосредоточенно молчали, разбрасывали цветы просто так, по земле — никакого памятника на этом месте не было.

Что-то заставило меня обратиться к этим рыдающим людям, обратиться с кратким словом о том, что на этом месте, месте расстрела ста тысяч ни в чем не повинных людей, будет стоять памятник! Не может не быть поставлен именно здесь, где впервые за всю войну в таких невиданных доселе масштабах фашизм на практике осуществил свою «расовую» теорию. Потом это место понравилось, и они стали расстреливать всех подряд, не считаясь с национальностью.

Вспоминая об этом, я привел слова из книги Луначарского: «Антисемитизм — это самая выгодная маска, какую может надеть на себя контрреволюционер». С этих слов начинается книга. Вышла она в 1929 году, Гитлера еще не было, и Анатолий Васильевич не мог себе представить тогда, во что может вылиться это страшное явление. Четыре года спустя он увидел это собственными глазами, когда, назначенный послом в Испанию, проезжал через ставшую уже фашистской Германию. Но написать ему об этом не пришлося. Не доехав до Мадрида, он умер во Франции, в Ментоне, в 1933 году.

...Прощаясь уже в коридоре, он очень дружески, совсем не по-сновому пожал мне руку и просил, когда я буду в Москве, не стесняться и заходить запросто — он и Наталия Александровна всегда рады будут меня видеть.

— Надеюсь, — сказал он, улыбаясь, — в следующий раз придет ко мне уже студент архитектурного вуз... Не так ли? — (Опять «не так ли?» — «N'est ce pas?») — И обязательно зайди к Тото. Он с мамой живет в Лебяжьем переулке. Запиши адрес.

Адрес я записал, но ни Анатолия Васильевича, ни Тотошку больше уже никогда не видел. Знаю только, что Тотошка стал писать — сначала вместе с матерью Анной Александровной под псевдонимом «братья Занзибер», потом под собственной фамилией. В войну был корреспондентом на Черноморском фронте. Пал смертью храбрых в беспримерном по дерзости и трудности новороссийском десанте в сентябре 1943 года.

В журнале «Москва» № 5 за 1967 год напечатан его очерк «На катерах-охотниках», записи из фронтового дневника и несколько писем матери, которую не только любил, он был с ней по-настоящему дружен. Там же в журнале его фотография 1940 года. Красивый длиннолицый

молодой человек, с умными, немного грустными глазами и маленькими усиками. Таким я его не знал. Тогда, в Третьяковке, грустного в нем ничего не было, а в детстве, когда мы таскали друг друга за волосы, и того меньше.

А в квартире Анатолия Васильевича (теперь там музей) мне пришлось побывать еще после войны, на этот раз в гостях у Наталии Александровны, с которой вторично познакомился через ее брата, в прошлом литературного секретаря Луначарского И. А. Саца.

И опять я сидел за тем же столом, даже на том же самом месте, и, проходя через гостиную с внутренней лестницей, невольно опять подумал о своей будущей даче или вилле. А надевая пальто в прихожей, вспомнил последнее рукопожатие Анатолия Васильевича, его смеющиеся сквозь пенсне без оправы глаза и последнее его: «Не так ли?»—«N'est ce pas?»

ЧУЖКОЙ

Настоящая фамилия Ивана Платоновича Чужого была Кожич — ленинградцы хорошо помнят его брата Владимира Платоновича Кожича, режиссера театра имени Пушкина. Ивана Платоновича тоже — последние предвоенные годы он работал в театре Ленинского комсомола. Обоих уже нет в живых.

Я был учеником Ивана Платоновича. В тридцатые годы. А он моим учителем. И кумиром. Да и не только моим. Я не встречал до сих пор человека, который, столкнувшись с ним, не влюблялся бы в него — сразу же, с места и навсегда.

Свела меня с ним чистая случайность.

Шел 1933 год. К этому времени я успел уже кончить три курса архитектурного факультета Строительного института, заниматься месяц стрельбой, шагистикой и пением строевых песен в лагере под Киевом и, загорелый, полный сил и энергии, вернулся к концу лета в родной Киев.

Занятия в институте еще не начались, и я ежедневно таскался на пляж, а по вечерам писал рассказы. Мы все тогда писали рассказы. Мои друзья — во всяком случае. Сначала читали их друг другу, потом этого оказалось мало, и те из нас, кто верил в свою литературную звезду, стали ходить в литературную студию при Союзе писателей. Руководил ею Дмитрий Эрихович Урин. Он был молод, ему не было еще и тридцати, но талантлив и уже известен — на полке в кабинете стояли его собственные книжки, а в Русской драме шла его пьеса. Кроме того, он был завлитом этого же театра. Вот он нас и учил.

Когда я возвратился из лагеря, его в Киеве не было: отдыхал. Как только вернулся, где-то уже осенью, мы — я, Леня Серпилин и Иончик Локштанов, мои ближайшие друзья по институту, — сразу же ринулись к нему с тетрадками новых произведений под мышками. Но чтения не состоялись: Дмитрий Эрихович торопился в театр.

— Что поделаешь, служащий. Зарплата... — И вдруг запнулся: — Слушайте, ребята! Хотите поступить в студию?

— Какую еще студию? Мы ведь уже...

— Да нет, не в литературную, в театральную.

— Зачем?

— Да просто так, из озорства. Я как раз иду принимать экзамены. Пошли?

Мы переглянулись.

— Ну? Решайте. Чтение наше сегодня все равно не состоится, в кино билеты уже не достанете, а шляться по Крещатику и стоять в очереди за пивом — просто бездарно.

Кто-то из нас удивился:

— А что же мы на этом экзамене делать будем?

— А что на экзаменах делают? Сдаются. Или проваливаются. Не все равны? Изобразите что-нибудь, прочтите басню Крылова, пушкинского «Гусара» или из «Нулина» кусок — вот и все. И время убьете, и расставаться, ей-богу, не хочется, я же, бродяги, по вас соскучился.

Мы тоже соскучились. И тоже не хотелось расставаться. И мы пошли.

На третьем этаже театра в маленькой комнатке сидела комиссия. По коридору слонялись юнцы и девицы. Юнцы курили, девицы поминутно смотрелись в зеркальца.

Когда открывалась дверь, выпускная кого-то бледного или красного, в зависимости от характера и темперамента, мы видели сидящую за столом комиссию, о которой прошедшие экзамен отзывались по-разному: «Строгие, сволочи...», «Придираются», «Ты читаешь, а они перешептываются», «А один там в углу прикрыл рукой глаза и слушает...»

Этим одним был Иван Платонович. Когда я в свою очередь, стараясь быть как можно развязнее, в небрежной позе стал посреди комнаты перед рассевшимся у стола синклитом, первым в глаза мне бросился этот длинноногий, с небольшой красивой головой и серьезными, устремленными на меня глазами сорокалетний человек в коричневом костюме, сидевший в дальнем углу.

Хотя я ни одной минуты не собирался поступать в эту студию — зачем она мне, я уже выбрал профессию, — я все же порядком волновался. Стихов я никогда в жизни не читал, басни же просто презирал как любое нравоучение. Тем не менее в руках я сжимал томик Блока и прочел из него «Скифы». Потом басню, не помню уже какую. За басней последовал «этюд» — мне надо было изобразить базарного вора. Изобразил, как мог. Комиссия перешептывалась. (Я часто встречаю «ее», эту комиссию, теперь на киевских улицах или в парках — кто на пенсии, кто пишет мемуары, а кто еще и работает.) Иван Платонович сидел в углу и молча серьезно слушал, прикрыв глаза рукой: он не любил бьющего в глаза света. После этюда он встал, прошелся по комнате — одно плечо у него оказалось выше другого, — подошел ко мне, внимательно посмотрел и спросил:

— Кто ваш любимый писатель?

— Гамсун, — без запинки ответил я.

— И на сцене видали?

— Видал. «У врат царства». С Качаловым и Еланской.

Он, кашлянув, ничего больше не сказал и ушел в свой угол.

Кто-то из комиссии спросил:

— Вы поете?

— Да, — уверенно сказал я, хотя вокал отнюдь не был моей стихией.

— Тогда спойте что-нибудь. Без аккомпанемента можете?

— Могу! — И спел строевую песню «Наддніпрянський полк ударний...», мы ее ежедневно распевали в лагерях.

Комиссия улыбалась.

— А что-нибудь другое?

Другое — так другое. Я спел «Индийского гостя».

— Спасибо, — сказали мне, и я, несколько ошарашенный, вышел в коридор.

На следующий день в списках принятых я обнаружил свою фамилию. Локштанова и Серпилина тоже. Что читал Ленька — не помню (в противоположность мне он знал все — от Гумилева до Демьяна Бедного), читал хорошо, но этюдом комиссию несколько озадачил: он провел

его молча, сидя на стуле и не сделав ни одного движения. Дело в том, что ему предложили изобразить Ван-дер-Люббе, поджигателя рейхстага, а тот, как известно, на лейпцигском процессе не очень-то был болтлив.

Так или иначе, хорошо или плохо, но в студию нас приняли. Всех троих. И велено было прийти на следующий день в шесть часов вечера на первый вводный урок.

Этот вводный урок все и решил.

Провел его Иван Платонович. Несколько вступительных слов сказал Марсель Павлович Городисский — директор студии и в то же время практикующий адвокат. (Я недавно его встретил. Работает. Выступает в суде. И пишет записки.)

Иван Платонович говорил негромко, без всякого пафоса, сначала сидя за столом, потом встав и расхаживая перед нами на длинных своих ногах, сунув правую руку в карман. Из левого кармашка пиджака выглядывал кожаный плоский портсигарчик с двумя папиросами — у него был туберкулез, курить ему нельзя было, но две штуки на занятиях он всегда выкуривал.

К моменту вводной лекции нам уже было известно о нем все. Ему сорок четыре года. До революции — провинциальный актер, играл в Орле и у Собольщикова-Самарина в Ростове-на-Дону. Успех. Но недолгий. Болезнь — туберкулез легких — на три года отрывает его от сцены. В 1916 году, поправившись, поступает в Художественный. Замечен Станиславским. Играет небольшие роли, а через два года получает роль Барона в «На дне». («Роль эту когда-то с виртуозным совершенством играл В. И. Качалов, и приходится признать, что И. П. Чужой целиком может выдержать экзамен сравнения» — «Театральная газета», 9 июня 1918 года.) Успех полный! На очереди главная роль О'Нейля из пьесы Бергера «Потоп» в постановке Е. Вахтангова. Но... С одного из очередных спектаклей «На дне» Ивана Платоновича увозят в тяжелом, почти смертельном состоянии в подмосковную больницу в Химках. После этого несколько лет лечения в санаториях Крыма и Кавказа.

Двадцатые годы — Киев. Театр студийных постановок. Режиссер-педагог. Кругом молодежь. Опять успех. О студийных спектаклях пишут в газетах. Хвалят. А. В. Луначарский, посмотрев «Смерть Пазухина» Салтыкова-Щедрина, тоже похвалил. (А мхатовский спектакль покритиковал — «беззлобный, а надо, чтоб кусался»¹.) Еще три спектакля — «Потоп», «Гибель «Надежды» Гейерманса, «Женитьба Бальзамина», — и, несмотря на популярность у зрителей, театр-студию в 1929 году закрывают: новые веяния в искусстве.

Сейчас Ивану Платоновичу предложено учить нас. И вот мы сидим перед ним на стульях, поставленных в ряд в нижнем фойе театра, двадцатилетние мальчики и девочки, и внимательно слушаем его. А он ходит перед нами и говорит.

Ничего, кроме муки и терзаний, он нам не обещает. Ничем не обольщает. Впереди труд. Нелегкий труд. И полная отдача себя. Никаких компромиссов. Или театр, или — уходи, пока не завяз. (А мы трое на четвертом курсе института, через два года диплом!) Одним словом — «идите домой и крепко подумайте»...

Ленька Серпилин «крепко подумал» и на вторые занятия не пошел. Мы с Иончиком пошли — и на вторые, на третьи, четвертые. И так четыре года. Утром институт, вечером студия.

От Ивана Платоновича сохранилось у меня не много — его фотография, сделанная мною и Иончиком, мой собственный шарж на него, два

¹ А. Луначарский. К возвращению старшего МХАТа. 1926.

письма, восемь открыток (последних дней войны) и крохотная записочка, которую я обнаружил еще до войны, но уже по окончании студии, на дверях своей квартиры: «Звонил, стучал — не открывают. Обнимаю. Чужой». Вот и все. Из вещественного, осязаемого. Из более хрупкого и дорогого — светлая память о нем, память о человеке, которому я бесконечно многим обязан, открывшему мне глаза на явления, мимо которых я спокойно раньше проходил, научившего меня по-настоящему понимать и любить искусство, и в первую очередь правду в нем. Я прошу прощения за эту несколько высокопарную фразу, но это действительно было так.

Учитель и ученик... Это и строгий, очкастый математик у черной доски с мелом в руках, а перед ним запутавшийся в дробях вихрастый паренек, это и Флобер, не выпускавший до поры до времени Мопассана на широкую дорогу, это и Христос со своими апостолами...

Кем были мы? Воском, глиной, пластилином. Из нас хорошо было лепить. Были мы иногда строптивы, упрямые, обидчивы (девочки частенько поплакивали), но пальцы у Ивана Платоновича, при всей его мягкости, были сильные, как у настоящего скульптора, и мял и вылепливал он из нас, что хотел. Причем делал это так тонко и умело, что нам казалось, будто мы сами к этому стремимся, а он, ну, он где-то там изредка подтолкнет.

Я не знаю, что испытывает глина или воск в руках скульптора, мы же в руках Ивана Платоновича — все! Всю гамму свойственных человеку чувств — от черного горя, когда хочется с моста вниз головой, до ощущения неземного блаженства, восторга, счастья, дальше которого некуда уже и идти.

По тому, как он сидит, или встает, или ходит, вынимает папиросу, закуривает, затягивается, мы уже знали, довolen он или нет, бросаться ли с моста или бродить счастливому, одному, вдвоем, а может быть, и с самим Иваном Платоновичем по ночному Киеву, под его могучими каштанами и липами.

Иван Платонович любил эти прогулки, неторопливые, бесцельные, когда говорили больше мы, чем он,— хотя он и не был молчуном, он не был и по-актерски болтлив, не рассказывал историй и анекдотов из театральной жизни, а о своем прошлом не вспоминал никогда, как будто его и не было. В театре, или, как принято у актеров говорить, на театре, это явление более чём редкое.

Часто, когда он уставал после репетиции, мы просто провожали его домой, на Бессарабку, где он жил в одной комнате со своим верным Санчо Пансой, другом детства и одноклассником (даже однопартийцем) — чудесным, маленьким, приветливым Феофаном Кондратьевичем Епанчей. Иногда, когда он болел, мы заходили к нему и усаживались у его железной кровати, над которой на стенке висело громадное «Чужой» (кто-то в шутку вырезал это слово из афиши «Чужого ребенка»). Иногда, обыкновенно на какой-нибудь праздник — 1 Мая или чай-нибудь день рождения,— он заходил к «нам», точнее, к Нанине Праховой. У Праховых была прекрасная многокомнатная квартира, вся увешанная картинами в золотых тяжелых рамках, преимущественно Врубеля, с которым дружил Нанинин дед, знаменитый в свое время археолог, искусствовед, педагог и художественный критик Адриан Прахов, «открывший» миру Кирилловскую церковь в Киеве — уникальное сооружение XI века.

У Праховых мы «розвились», ставили какие-то шарады (многие специально к ним готовились, чтоб новой «находкой» поразить Ивана Платоновича), слушали рассказы Николая Андриановича, Нанинного отца, о Врубеле, Васнецове, Несторове, которые часто бывали и даже жили

в этом доме: отец и мать Нанины тоже были художниками. Потом долго пили чай — да, только чай! — и где-то после двенадцати шли провожать Ивана Платоновича через весь город к его уже волнующемуся, стоящему на балконе, уютному Феофану Кондратьевичу.

Но все это был, так сказать, отдых, внепрограммное общение с Иваном Платоновичем. Настоящее же «общение» — и вот тут-то счастье и горе — происходило на репетициях, в большом зале театральной столовой, из которой выносились столы и стулья.

Первый год мы играли этюды и ставили отрывки из Чехова. На втором курсе мне дьявольски повезло — дали Хлестакова, второй акт «Ревизора». Потом уже Иван Платонович рассказывал мне, почему он отважился дать мне эту роль, мечту моей жизни.

После первого курса (и четвертого архитектурного) институт послал нас на практику. Я с приятелем попал в Севастополь. Там мы, не переутомляясь, строили какие-то печи Трепке, в основном же купались и загорали на станции «Динамо» у Графской пристани и с утра до вечера мечтали о сытном обеде: год был нелегкий, тридцать четвертый. И вот в одном маленьком, беленьком, как и все в Севастополе, домике на Северной стороне (у родителей моего друга, с которым я вместе работал в Киеве на постройке вокзала) мы эту нашу мечту осуществили полностью. Мы съели и выпили все, что было на столе, а на столе было много кое-чего, и еще по карманам растыкали. Я надолго, на многие годы, запомнил это лукуллово пиршество.

Вернулись в Киев. Начались занятия в студии. На первом же уроке Иван Платонович предложил каждому из нас изобразить наиболее запомнившийся, наиболее интересный эпизод из проведенного нами лета. Я изобразил самого себя за столом у родителей моего друга.

— Вы ели, дорогой мой, — сказал мне Иван Платонович, — с таким аппетитом, так вкусно, с такой самозабвенностью, с такой отдачей всего себя самому процессу еды, пережевывания, запивания, выбора блюд, обсасывания косточек, ковыряния в зубах, что я сразу понял: речь может идти только о Гаргантюа или Хлестакове. Я выбрал Хлестакова.

Всю зиму я работал над Хлестаковым. А в институте по утрам корпел над проектом вокзала. За вокзал я получил четверку, за Хлестакова — пять!

Счастье, охватившее меня после успеха в роли Хлестакова, я могу сравнить только с радостью, которую испытал одиннадцать лет спустя, впервые взяв в руки восьмой и девятый номера «Знамени» за 1945 год с напечатанным там «Сталинградом».

Потом на третьем и четвертом курсах я играл матроса Селестена в мопассановском рассказе «В гавани», графа Альмавиву в «Женитьбе Фигаро», Добчинского (!), и Раскольникова, и, как диплом, Женьку Кси-диаса в «Интервенции» Л. Славина. За эти две последние роли меня хвалили — но все это было уже без Ивана Платоновича. Что-то у нас переменилось, Марселя Павловича заменили другим директором, мы приняли его в штыки (потом, правда, примирились и даже подружились), в репертуаре нашем появился «Платон Кречет» (тоже штыки, но никакого примирения), и в результате всех этих перемен Иван Платонович от нас ушел.

Мы — я и Иончик — от имени студии ездили к нему в Остер (там у него был маленький домик, там он и родился) умолять, чтоб не покидал нас. Он нас очень трогательно принял (сам тоже был тронут), угостиł обедом, ходил с нами к речке, был тих, спокоен, как всегда обаятелен, но непреклонен. Нет, не вернется: мосты сожжены, корабли потоплены.

— Поеду осенью в Ленинград. К Володе.

- Но с вашими легкими Ленинград...
- Ничего не поделаешь. Другого выхода нет.
- Ну, а мы? — последний наш козырь.— Как же мы без вас?
Он мягко, грустно улыбался.

Жданович Алексей Иванович — хороший человек. Прекрасно знает систему...

Система, система! А ну ее! Нам Иван Платонович был нужен, а не «система»...

Но он так и не вернулся. Уехал в Ленинград — не помню точно когда. В Ленинграде работал в театре Ленинского комсомола. Поставил «Женитьбу Бальзаминова» (у нас в студии она тоже шла), пригласил туда немногого погодя моего однокурсника Веньку Любомирского (я был задет: а почему не меня?), и больше я его никогда не видел.

В чем же было обаяние, всепокоряющая сила этого немолодого (для нас даже старого — сорок четыре года!), в общем-то, неустроенного, живущего в чужой (ну, не чужой — дружеской) комнате, не имевшего семьи (была, кажется, когда-то жена, но...), очень больного человека. Думаю, не ошибусь, если скажу: в любви к театру, к искусству. И в умении заставить других полюбить так же, как и он. Впрочем, «заставить» не то слово — под ним подразумевается насилие, а для Ивана Платоновича любой вид насилия, даже мягкого, бархатного, исподволь, был противопоказан.

Он был ярым врагом метода «показа», признавал только «рассказ», воевал против повторения и запоминания удавшихся интонаций, был мягок и в то же время требователен (иногда, чтобы расшевелить находящегося «не в форме» ученика, раздражал его, доводил до точки кипения: «Ну, а теперь вот пошло, пошло, продолжайте»), но никогда не сердился по-насоящему. Он ненавидел безвкусицу и штамп, презирал самовлюбленных актеров, будь они семи пядей во лбу, в искусстве был за правду (и не в искусстве тоже), к формальным поискам относился без особого восторга, но не отрицал их права на жизнь. Мейерхольда считал очень талантливым, но театра его не любил. (Кстати, мы были поражены, когда, попав на репетицию «Клопа», увидели, как Мейерхольд работает методом «показа»: он изображал, а такие актеры, как Боголюбов и Ильинский, пытались ему подражать, копировать.) МХАТ любил, но и критиковал. Чарли Чаплина называл величайшим актером и ходил с нами на «Новые времена».

Сейчас, когда я пишу эти заметки, я пытаюсь вспомнить какие-нибудь «изречения» Ивана Платоновича. В книгах и монографиях о «великих» людях, после воспоминаний о них современников и друзей, бывает раздел «Мысли художника». Их обычно записывал секретарь. У Ивана Платоновича секретаря не было (разве что Феофан Кондратьевич), но главное — он не любил «изречений». Его «изречениями» были репетиции, и нам этого было вполне достаточно.

Я почему-то не помню, как мы провожали Ивана Платоновича и провожали ли вообще — возможно, это было легом и мы проходили практику. Но он уехал. А вместе с ним ушло от нас и внутреннее, может быть, юношеское, излишне восторженное, но некое озарение. У нас остались хорошие педагоги, и Женьку Ксидиаса я делал под руководством ныне покойного Бенедикта Наумовича Норда с большим увлечением, но это было уже не то...

Окончив студию, я «подвизался», пока не началась война, на сценах Владивостока, Кирова, Ростова-на-Дону, колесил малость с «левым» театратором по клубным сценам Правобережья, в августе сорок первого был мобилизован, и на этом моя актерская карьера кончилась. И на всегда...

Летом 1943 года на Донце я был ранен. Попал в госпиталь в Баку. Там узнал об освобождении Остра и сразу же написал Ивану Платоновичу открытку: откуда-то я знал, что он оккупацию перенес в Остре. Ответ — длинное, невероятно обрадовавшее меня письмо — я получил уже на полевую почту, когда уже давно выписался из госпиталя и воевал в Польше. Пришло оно за неделю до моего второго ранения. Привожу это письмо:

«1.VI.44.

...Долго ничего от Вас не было, и я решил, что Вы выписались из бакинского госпиталя, не получив моей открытки и, следовательно, не зная, где я и есть ли я вообще. Очень жалко было, что оборвалась связь с Вами. Я часто думал о Вас, и Ваша открытка — первая весть с воли — показала, что мысли эти и беспокойства не были односторонними. В день освобождения Киева я послал открытку Зинаиде Николаевне, считая, что она придет раньше Вашего письма. Прошло много времени, и открытка была возвращена за ненахождением адресата. Это обеспокоило меня. В первых числах января с. г. в киевской газете от 31.XII.43 года была помещена темпераментная, понравившаяся мне статья «В новогоднюю ночь». Я удивлен был подписью под ней. Не могло быть такого совпадения. Тут и имя, и гвардии капитан, и Киев, в который Вас должно было потянуть в первую очередь. Я несколько успокоился и насчет Ваших родных, решив (здесь я судил по себе), что если б Вы своих не нашли, то были бы слишком подавлены и не стали бы писать для газеты. Прошло несколько лет с тех пор, когда мы были вместе. И чем больше лет нас разделяло, тем яснее и четче я видел, что Вы остались не только в памяти, но и в душе. Поэтому очень рад был и второму Вашему письму, большому, но только поднявшему пласти того, что хотелось бы узнать от Вас и что — рассказать Вам. Тут, конечно, нужна встреча, и ее ничто не заменит. Может быть, Вы помните, что, уезжая перед войной на юг, я надеялся увидеться с Вами и писал об этом. Поехал я в другое место и по другому пути, а добрался до Остра в первых числах июня 41 года. Когда в сентябре через Остер прошел фронт, я оказался в дачном доме с вылетевшими окнами, продырявленной крышей, с садом, изрытым окопами и щелями, без денег, без вещей, без дров и даже без картошки, о которой когда-то переводил из французской хрестоматии, что она во время Великой французской революции спасла французскую аристократию от голодной смерти и во все времена спасает от голода всех бедняков мира. Первые же вломившиеся на постой немцы забрали все, остававшееся из года в год в доме. Потянулись тяжелые дни, и я не пропал только благодаря Анне Всеходовне, знающей немецкий и французский языки и приехавшей сюда в последнюю минуту. Что делали немцы — Вы знаете, я мог бы рассказать кое-какие детали и случаи со мной, но об этом можно говорить только в более спокойной обстановке.

В январе 42 г. умер от истощения Феофан Кондратьевич, я узнал об этом через месяц и то стороной, так как связи с Киевом не было. Вы представляете, как трудно было перенести эту утрату. Ведь мы с Ф. К. сели в 1-м классе гимназии на одну парту и с той поры не расставались до последних дней. Ни одного пятна не было на нашей дружбе, ни одной друг от друга тайны, ни одной измены.

О Владимире Платоновиче ничего не знаю. От жены его получил открытку, написанную в ночь с 22 на 23 июня 41 г., где говорилось, что город не спит, ждет налета. Больше ничего не знал, не слышал, не читал. Зимой почти все время лежал, спасаясь от холода, экономил энергию, а значит, и харчи. Летом, когда это позволяли обстоятельства, ловил

рыбу, подкармливавшую нас. День проходил настороже — не придут ли, не схватят ли, — по ночам же у нас немцы людей не брали, и кто прожил благополучно день, мог спокойно провести и ночь. Читал киевскую газету с муками и стенаньями, надеясь найти что-нибудь об СССР. Очень редко удавалось, отравив себя лошадиными порциями зловонного пойла, найти строчку — две какой-нибудь браны или клеветы, из которой можно было бы сделать некоторые догадки и предположения о том, что делалось у Вас. Тут опять надо говорить, не уложишь всего в письме. Но вот пришло 21 сентября 43 года!

Двое суток немцы ходили по Остру и собирали уцелевших мужчин. К 4 часам 21 сентября обыски закончились. Я сел у окна и стал наблюдать за частями отступавшего немецкого арьергарда. Вдруг сзади голос: где мужчина? Пришедшие со стороны сада двое эсэсовцев уже входили на балкон по мою душу. Навстречу вышла А. В. «Где вы научились так хорошо говорить по-немецки?» — «В гимназии». — «А-а, в гимназии! Где мужчина, нам сказали, что здесь остался мужчина». — «Мужчина давно бы уехал, но он болен и везти его невозможно». — «Вы — фольксдойче?» — «Нет». — «А почему вы здесь остаетесь?» — «На моем попечении находится заболевший господин, он — артист, но сейчас играть не может». — «А сколько их у вас?» — «Кого?!» — «Больных мужчин». — «Один, только один. Во всем доме живут только двое — он и я. Это дача. Он приехал из Ленинграда и тут был застигнут войной». — «А-а, Петербург! Полусонный немец слушал ее, глядя в одну точку, и жевал яблоко. Так продолжалось до тех пор, пока раздавшийся на соседней улице взрыв не вывел его из оцепенения. Тогда он махнул на А. В. рукой и поплелся в сторону взрыва, увлекая за собой товарища. Это были последние немцы, которых я видел.

Судя по первому периоду войны, я не верил, что освобождение придет так скоро. Немцы ведь оставили ура-блицкриг и говорили о семилетней войне.

По письмам, пришедшими от людей невоевавших и не живших под немцем, я видел, что они не поняли многоного, не почувствовали и не додумали. От ленинградцев же, остававшихся там до конца 42 г., письма уже были совсем иные...

После двухгодичного нервного перенапряжения и сверхподъема после освобождения, сейчас у меня реакция, особенно чувствительная в мои годы и с моими хворями. Но надо, надо держаться до конца во что бы то ни стало. С надеждой на это, с надеждой на нашу встречу обнимая Вас горячо и дружески.

Любящий Вас И. К.».

После было еще одно письмо и несколько открыток.

«Жизнь нелегкая, здоровье плохое, надо бы съездить в Киев, Ленинград, но как это осуществить... От 6-ти до 12-ти, слава богу, включают теперь электричество, появился в доме репродуктор, а в общем-то... Надо бы поговорить... Предположите, что Ваш приятель или знакомый говорит Вам: «Нет, сегодня не зайду к тебе, надо в этот чертов Остер за картошкой ехать...» Уж тогда непременно садитесь рядом с шофером и держите путь на ул. 8 Марта, 40...»

Последняя открытка, совсем уже грустная:

«27.II.45.

... С 20 января я лежу и вряд ли в ближайшее время смогу написать Вам. Однако прошу Вас время от времени посыпать мне хоть небольшие цидулки. Последнее Ваше письмо очень интересно в том смысле,

ле, что в нем есть ответы на некоторые вопросы, меня очень интересующие. Ведь все пережитое Вами так огромно, что довоенными очами Вы уже не можете смотреть на жизнь и особенно на тыловую жизнь сегодняшнего дня.

Обнимаю Вас, дорогой мой.

И. К.».

Больше я уже ничего от него не получил. Не дожив нескольких недель до Дня Победы, он умер 19 апреля 1945-го, на пятьдесят шестом году жизни.

Почти через двадцать лет — в 63-м году — я оказался в Остре. Пшел на улицу 8 Марта, 40,—там жили уже какие-то незнакомые люди,—сходил на кладбище, положил на какую-то безымянную могилу (старожилы сказали мне, что именно в этом «кутку», уголке, похоронили Ивана Платоновича) букетик цветов, посидел, повспоминал и ушел.

Фотография Ивана Платоновича (сделанная мною и Иончиком) стоит у меня на столе. Он красивый, грустный, задумчивый, голову подпер левой рукой — так сидел он на наших репетициях в те далекие счастливые времена, когда, как мне тогда казалось, всю свою жизнь я посвятил театру. Я изменил ему. Осудил ли бы меня за это Иван Платонович? Думаю, что нет. Театр требует полной отдачи себя. У меня это не получилось. И я ушел из театра. Вернее, после фронта не вернулся назад. Думаю, что театр не многое потерял, а я все же остался в выигрыше: мое юношеское увлечение театром свело меня с Иваном Платоновичем. А это большое счастье...

СТАНИСЛАВСКИЙ

Летом 1937 года я кончил театральную студию при Киевском театре русской драмы, и тут же большинству из нас предложено было остаться в труппе театра. Предложение было лестное, но не очень заманчивое. Театр, конечно, не плохой и артисты хорошие, ничего не скажешь, но есть же и МХАТ! И мы поехали во МХАТ. Держать экзамен. Человек пять или шесть — точно не помню. Провалились. Тогда ринулись в студию Станиславского. Опять провалились. Все, кроме одного — моего ближайшего друга Иончика Локштана. Он один был принят, и мы ему до смерти завидовали, грешным делом объясняя все его ростом, телосложением и голосом — он пел и даже учился у известной Муравьевой.

Вернувшись в Киев, узнали, что все мы за «измену» театру из труппы исключены. Потом дано было понять, что, если подадим соответствующие заявления, будем возвращены назад. Все подали. Я отказался: был горд...

Чем же заняться? Возвращаться в архитектуру? Год тому назад я кончил Строительный институт. Не хочется. Хочется быть актером. И тут подвернулось нечто, именуемое «Железнодорожным передвижным театром». Так во всяком случае мне было объявлено, когда предложили в него поступить. До этого я пытался втиснуться в труппу к знаменитому Блюменталь-Тамарину, но там не получилось, и я принял предложение Железнодорожного передвижного театра.

Передвижным он был на самом деле, «железнодорожного» же в нем было только то, что передвигались мы по железной дороге, на самом же деле это был театр «на марках», в просторечье же — «левая халтура». В «труппе» было всего восемь человек. Руководил ею Александр Владимирович Роксанов — в прошлом артист петербургского фарса, а до этого еще профессиональный борец, изъездивший весь мир, от Петербурга

до Сан-Франциско. В маленькой его комнате на тихой Павловской улице висел на стенке большой его портрет — полуголый, руки с толстенными напряженными бицепсами за спиной, через грудь — лента с медалями за победы на «чэм-м-мпионатах».

Теперь это был пожилой, совершенно седой человек, с продолговатым интеллигентным лицом, в пенсне, очень ленивый и очень хороший. Мы сразу полюбили друг друга. И сразу начали играть в очень полюбившуюся нам игру — оба делали вид, что играем в настоящем театре.

В репертуаре были пьесы с минимальным количеством действующих лиц и максимальной увлекательностью — «Стакан воды» Скриба, «За океаном» Гордина, «Тайна Нельской башни» Виктора Гюго, «Парижские нищие» не помню уже кого, «Очная ставка» Шейнина, еще что-то, еще что-то и — о ужас, я долго сопротивлялся, даже бунтовал! — «Анна Каренина», где я, первый любовник труппы, заливаясь краской, изображал Бронского.

С таким вот репертуаром, таская за собой жалкий свой «гардероб» и «реквизит», мы разъезжали по mestечкам и районным центрам Винницкой области, где у нашего администратора был какой-то блат, и несли в массы культуру. Честно отыграв спектакль, разгримировывались и делили выручку на четырнадцать «марок». Четырнадцать, а не восемь, потому что Роксанов получал три «марки» как актер и худрук, Буковский — две как актер и администратор, Коля Стефанов как актер и зав. постановочной частью, ну, и жена Александра Владимиrowича как актриса и жена.

Так колесили мы из Гайворона в Гайсин, из Гайсина в Немиров, из Немирова еще куда-нибудь целый год. И я полюбил свой театр, и маленькую нашу «труппу», сплошь состоявшую из симпатичных неудачников, и крохотные клубные сцены без кулис и с вечно заскакивающим занавесом, и разношерстную публику, принимавшую нас всерьез и даже по несколько раз вызывавшую, и тесные, грязные mestечковые гостиницы или школы, где часто спали просто на столах, и вокзальные рестораны (ох, какие в Гайвороне были свиные отбивные, не хуже, чем в киевском «Континентале»), — и плевал я на всех друзей и знакомых, которые не переставали недоуменно пожимать плечами: «Архитектор, высшее образование, из интеллигентной семьи, а вот, поди, по каким-то дырам паясничает за какие-то там «марки»... Мать хоть пожалел бы...» Но мать я не жалел, а она меня не осуждала — «ему интересно, он любит своего Роксанова, ну и пусть играет, пусть разъезжает по всяким дырам».

А Александра Владимиrowича я действительно полюбил. Это был образованный, начитанный, много повидавший в своей жизни человек с неудавшейся, в общем, карьерой (в молодости, правда, был успех — и в цирке и на сцене), но — актер он был хороший и человек к тому же очень добрый.

На первый взгляд может показаться странным: как это молодой человек, «идейный», воспитанный на канонах системы Станиславского, к искусству относящийся со всей серьезностью, к тому же ученик всеми уважаемого, а молодежью боготворимого, утонченного Ивана Платоновича Чужого, да еще после успеха в студийном Хлестакове и Раскольникове — как это такой человек мог увлечься своей халтурой... Но это было так. Увлекся. И виновником был Роксанов.

Чужой и Роксанов в своих театральных взглядах были полярны. Иван Платонович, актер МХАТА, был ярым поборником системы Станиславского. Роксанов, актер фарса, «систему» более или менее презирал (тут между нами происходили ожесточеннейшие бои) и считал, что «учить актера плавать» надо не в плавательной школе, а просто сталкивая его с берега в воду.

— Вот вы, дорогой мой Витюша, поплавали три года в чистеньком, прозрачном бассейне с подогретой водичкой, это на определенном этапе очень хорошо и полезно, не спорю, но сейчас бассейна перед вами нет, а есть море с волнами и всячими там рифами и акулами. Хотите вы или нет, но я вас буду в это море сталкивать — в спину, неожиданно, с самого высокого утеса.

И сталкивал. И называлось это у нас «буря в стакане воды», так как эксперименты сии, одинаково нравившиеся и ему и мне, производились в основном во время представления скрибовского «Стакана воды». Болингброка он играл не меньше тысячи раз, пьесу, очень изящную, стремительную, с великолепным диалогом, знал назубок, поэтому мог позволить себе в ней кое-какие шалости. А шалости заключались в том, что он вдруг вводил в свой диалог собственный текст (но всегда в стиле и характере пьесы), а я, игравший Мэшема, должен был этот текст подхватывать, парировать удары — одним словом, начинался увлекательный, захватывающий «диаложный» теннис.

Сейчас я от театра далек — последний раз вышел на сцену в июле 1941 года, когда уже началась война, — но думаю, что обе эти системы — «бассейна» и «моря» — ничуть не противоречат одна другой, на-против, дополняют (вторая приучает к находчивости, быстроте реакции), и память о моих столь противоречивых учителях (обоих уже нет в живых) я храню как нечто самое дорогое, теплое и близкое в моей актерской (да и не только актерской) жизни.

Но вот кончилось лето 1938 года, Винницкую область мы искалечи-ли вдоль и поперек, перекинулись на Киевскую, более избалованную всячими там выездными спектаклями «настоящих» театров, сборы ста-ли падать, настроение портиться, появился микроб деморализации, все чаще вспыхивали какие-то идиотские ссоры, а я к тому же получил пись-мо от Иончика Локштanova, в котором он писал, что «школа Станислав-ского — это действительно чудо, храм искусств» и тому подобное и что он «кровь из носу, а сведет меня со «стариком».

Произошел тяжелый разговор с Роксановым (мой уходставил в тяжелое положение весь коллектив), но он понимал меня, слов возра-жения найти не мог и, грустно улыбнувшись, махнув рукой, сказал: «Бог с вами, поезжайте».

И я поехал — Иончик к тому времени уже все подготовил.

Дальше пойдут записи, сделанные мной по свежим следам. Чудом сохранился маленький пожелтевший блокнотик, в который я записал в тот же вечер, вернее ночь, все, что произошло в этот столь знаменатель-ный для меня день.

Итак.

12 июня 1938.

В час дня нужно позвонить Станиславскому, чтобы узнать о часе приема.

С утра все готовится к этому звонку — гладятся брюки, выбираются и даже стираются носки, чистятся ботинки, полчаса завязывается галстук перед зеркалом. Иончик собирался идти в апашке, но оказывается, что Константин Сергеевич этого не любит, приходится надевать воротничок.

В без четверти час мы уже сидим на лавочке в саду заветного до-ма, поминутно поглядывая на часы.

Ровно в час Иончик снимает телефонную трубку и набирает номер — знаменитый, таинственный номер Станиславского, которого не знает ни один человек в студии, которого нет в телефонной книге и который не выдают в справочной. Этот номер К 1-52-27.

Я трепеща стою у дверей, чтоб никто не вошел и не помешал, и по-жираю глазами Иончика. Вид у него почтительный, но серьезный. Подходя к телефону, он даже застегнул пиджак.

Он несколько раз просил меня, чтоб я не присутствовал во время его телефонного разговора со Станиславским, так как у него появится тогда подхалимское выражение лица, но я был неумолим и, к сожалению, разочарован — ему, по-видимому, удалось подавить в себе это чувство.

Разговор состоялся. Свидание назначено на сегодня, на 10 часов вечера.

Боже мой! До 10 часов вечера ждать, а сейчас час, совершенно не представляю, как я это выдержу, куда девать время. Чтоб не рассеиваться, я специально не пошел утром в театр на «Очную ставку», отдал билет Иончиковой матери, а тут, оказывается, просто с ума сойдешь от эбиляции времени.

Отправляемся в общежитие. Развешиваем брюки, рубашки и галстуки по стульям — Иончик идет играть в теннис, я укладываюсь на кровать. Около часу сплю. Потом просыпаюсь, начинаю читать бульварный роман «На берегах Гудзона» — единственное, что можно читать в такую минуту. Иончик уже спит.

Собираем и экономим силы. В голове бродят различные мысли.

Пожалуй, это самый ответственный день в моей театральной жизни, а может, и вообще жизни.

Около месяца тому назад Иончику удалось добиться разговора с Константином Сергеевичем, которому он прямо сказал обо мне (против моего желания, между прочим) и о моем желании заниматься в студии.

В телефонном разговоре Константин Сергеевич сказал Иончику, что если я буду в Москве, то он с удовольствием послушает меня. Это была блестящая победа. Добиться того, чтоб сам Станиславский меня слушал! Молодец Иончик, вот это настоящий друг, как сказал мне в своей напутственной телеграмме Иван Платонович.

Итак, 26 мая я выехал из Киева, фактическибросив на произвол судьбы роксановскую «халтуру», я даже не представлял, как они будут играть без меня.

По правде сказать, когда я ехал в Москву, мне не очень хотелось поступать в студию. Я боялся этого «храма», этой лучшей в мире студии, ее дисциплины, двухлетних репетиций, безапелляционного преклонения авторитету Станиславского. Умом я понимал, что нужно сделать все, чтоб в нее попасть, но сердце у меня к этому не лежало. Выражаясь высокопарно, я привык к свободному воздуху жизни и боялся школьной, правда золотой, клетки.

Ехал я в Москву с желанием встретиться со Станиславским, показаться ему, прочесть пьесу, но, повторяю, без всякого желания поступить в студию.

Итак, 27-го я был в Москве. Поселился с Иончиком в общежитии, и сразу с места в карьер мы приступили к работе. Шестнадцать дней мы работали — по три, иногда по четыре часа в день, — работали не за страх, а за совесть, как никогда в жизни не работали. Даже в театры не ходили, не до того было. С удовольствием работали, со смаком.

И вот наконец сегодня решительный день — или пан или пропал, а если даже и пропал, то все-таки — свидание со Станиславским.

За эти дни я его уже дважды видел на студийных просмотрах. Высокий, худой, широкоплечий, старый (семьдесят пять лет), но прямой, с большим, хотя и маленьким по отношению ко всей фигуре лицом, с иронически улыбающимися глазами и страшно выразительными руками. Внешность величественная, нечто среднее между кормчим с суровым лицом и ученым с дрожащей походкой.

Отношение всех к нему, особенно педагогов, как к божеству. Когда он входит, все встают, он пожимает всем окружающим руки, садится. И все садятся. Смотрят собачьими глазами ему в рот, чихнет — так и кажется, что двадцать носовых платков у его носа окажутся.

В таких размышлениях добирается время до вечера. Облачаемся в парады, идем к Иониной маме обедать. Желаючи ни пуха ни пера. Обедаем, пьем чай, получаем новую порцию «ни пуха ни пера» и отправляемся на историческое свидание.

В трамвае происходит инцидент. Я повздорил с каким-то человеком. Завязалась ссора. Мы с Иончиком набросились на него и загнали дрожащего в угол. Трамвайное население обрушилось на нас. Чуть в милицию не попали. Чтоб мы тогда делали? Константин Сергеевич ждет, а мы в тюрьме... Кончилось, к счастью, благополучно. У Никитских слезли, приютились у ног Тимирязева и вооружились терпением.

До десяти еще час. Говорить уже трудно. Внутри что-то начинает скжиматься. Проходят два старых еврея, усиленно жестикулируя, — мы смеемся; они проходят — мы опять замыкаемся.

Боже, как медленно ползет стрелка. Пытаюсь читать газету — не выходит. Думать могу только о сегодняшнем дне, о завтрашнем страшно.

Без двадцати десять. Встаем и направляемся к Леонтьевскому. Встречаем по дороге приятеля. Желает успеха. Прощаемся. Идем.

Проходим мимо афишной доски. Загадываем, тыкая пальцем с закрытыми глазами в объявления. Выходит: «12 мая. 30 минут парной гонки». Что это значит? Решаем, что хорошо, и заходим во двор. Минут десять сидим, говорим не помню уже о чем. Без пяти десять заходим в дом, обращаемся к дяде Мише.

— Сейчас доложу.

Садимся на диван. Начинают руки потеть. Внешне абсолютное спокойствие, а сердце мечется в канкане.

Выходит дядя Миша:

— Они говорят по телефону.

Потом:

— Они одеваются. Сейчас позовут.

Лихорадочно докуриваю папиросу. Наконец женщина в белом, архистратиг Гавриил, говорит:

— Кто тут к Константину Сергеевичу? Они ждут.

В вестибюле, в котором мы сидим, с мраморными колоннами и бюстами Станиславского воцаряется тишина. Репетирующие «Гамлета» ребята на минуту застывают. С похолодевшими сердцами направляемся по коридору в кабинет Константина Сергеевича.

— Куда? Сюда?

— Да, пожалуйста, в эту дверь.

Робким движением толкаю массивную, в русском стиле дверь. Захожу в комнату. За мной Иончик.

Комната большая, приятная. Три ампирных окна на улицу. Шторы опущены. Мягкая тяжелая мебель в чехлах. Ковер. Шкафы перегораживают комнату пополам. На шкафах вазочки. Расписной потолок. Люстра со свечами. Обстановка хорошая, но чувствуется, что за ней мало следят.

В углу дивана, глубоко погрузившись в его мягкоть, сидит длинноногий человек в ботах. Сквозь большие круглые стекла пенсне с тесемкой на нас смотрят маленькие, слегка иронические глаза. Лицо мало приветливое. Кланяемся, как учили в детстве, одной головой. Подходим, садимся в кресла. Молчание. Затем вопрос:

— Ну, рассказывайте...

Растерялся, не знаю, о чем рассказывать. Что-то мычу. Второй вопрос: «Это вы?» — смотрит на меня. «Да, я». Ни тени улыбки. Затем

спрашивает, что я делаю в Киеве. Я моментально успокаиваюсь и довольно связно рассказываю. Интересуется моим акцентом, работаю ли над его уничтожением, говорю, что да, хотя фактически этого нет.

Вступительный разговор окончен, приступаю к чтению. Первым читаю «Юргиса», рассказ, написанный мною самим, но выдаваемый за психологический перл какого-то никогда не существовавшего латышского или литовского писателя Скочиляса.

— Кого, кого? — наморщил брови Станиславский.

— Скочиляса. Антанаса Скочиляса,— не моргнув сказал я.

Станиславский закивал головой:

— Да, да, знаю...

Я внутренне улыбнулся.

Рассказ написан был в монологической форме, с объяснением слушателю, как и почему человек убил своего лучшего друга Юргиса. Прочел хорошо, лучше, пожалуй, чем на всех репетициях. Никакого волнения, внутренняя собранность, чувствуя себя хорошо. Старик слушает внимательно, правда, один раз мне показалось, что он зевнул, не раскрывая рта.

Затем читаю Маяковского. Чуть-чуть заметная улыбка намечается на массивных губах Станиславского. Потом идет «дуэль Печорина с Грушницким», и на этом первое отделение оканчивается. Предлагает отдохнуть. Отказываемся. Расставляем мебель для «Ревизора». Иончик изображает Городничего, трактирного слугу и немножко Осипа. Играем сцену обеда и приход Городничего. Сыграли с подъемом.

После Хлестакова — отдых. Скромно присаживаемся, смотрим в пол. Несколько секунд молчания.

— А зачем вы в студию хотите поступать? — спрашивает Константин Сергеевич.

Немножко наигрываю наивность:

— Собственно говоря... по-моему, это достаточно ясно...

— А все-таки — зачем?

Сдержанно, без излишнего восторга, чтоб не вызвать подозрения, говорю, что считаю студию единственным в Союзе учебным заведением, где по-настоящему, а не формально хотят воспитать настоящих актеров, и пошел, пошел... Есть ли у меня еще какая-нибудь специальность? Говорю, что есть.

Отдых окончен. Приступаем к этюду. Это наш коронный номер. Психологический этюд с перспективой, рафинированными деталями и сильными вспышками страсти. Длится двадцать минут. Сыграли, остались довольны. Вообще показ прошел хорошо, пожалуй, как ни одна репетиция...

Наконец настает самая жуткая минута — оценка. Холодновато-бесстрастно Станиславский начинает говорить.

Громадные музыкальные пальцы волосатых рук переплетены. На коленях скатерть, снятая нами со стола во время этюда. Сидит глубоко, колени высоко подняты.

Он говорит, что приблизительно к первому августа у них в студии будет выясниться вопрос о труппе для будущего театра. Будет пересмотрен весь состав студий, чтобы выяснить пригодность студистов, как актерскую, так и чисто человеческую, к работе в будущем коллективе. По-видимому, кое-кого придется привлечь со стороны. И вот в этом случае он будет иметь меня в виду.

Мне сразу становится скучно, и в течение нескольких минут я даже не слышу его слов.

Конечно, рассчитывать на то, что после первых трех слов моего чтения старик, рыдая, бросится ко мне на грудь со словами: «Наконец!

Семьдесят пять лет я ждал тебя, и вот ты пришел...» — было трудно, хотя где-то на самых задворках моей души теплилось нечто подобное. Но все-таки я этого не ожидал. По правде сказать, я думал, что меня все-таки примут, и в данную минуту был порядочно разочарован.

Когда я очухался, Станиславский разговаривал с Иончиком об этюдах, о студии; Иончик простирая ему отвечал. Я сидел молча; обо мне забыли. Вытирая платком пот. Нескольких зубов у старика не хватало, но остальные зубы были свои, а не вставные. Здоровый все-таки старик. Каждый день с 10 до 2 часов ночи работает над книгой.

Я пытаюсь вставить в разговор несколько умных фраз, чтобы продемонстрировать свою эрудицию, но должного впечатления это не произвело.

Наконец, вдоволь наговорившись об опере «Чио-Чио-Сан» (ее как раз тогда репетировали в студии), упадке театрального искусства, вреде формализма и тому подобном,— я задаю прямо вопрос: что он может сказать о моем показе.

Ах, о показе? Пожалуйста. Чтение мое ему больше понравилось, чем игра. (Вот неожиданность!) Много простоты, искренности, спокойствия, неторопливости, много действия (это хорошо!), хорошие взрывы. В отрывках же это не везде было. Маленькие «правдочки» (главным образом воображаемые предметы) не везде доведены до конца, поэтому не было импульса для рождения больших Правд. Поэтому Гоголь у вас не получился. Правда, Гоголь и Мольер, по его мнению, самые трудные авторы для сцены. Он очень долго мучился над «Мертвыми душами», пока ему не удалось добиться Гоголя. Нужно необычайно верить во все, что ты делаешь,— и тогда вы добьетесь того, чего хотите. Я не совсем понял, почему именно в Гоголе и Мольере нужно верить, а в остальных пьесах?..

Вот когда вы перенесете то, что у вас есть в чтении, да маленькие «правдочки» доведете до конца — вот тогда вы будете Хлестаковым.

То же самое относительно этюда. Несмотря на наличие очень хороших мест, цельный этюд не получился, опять-таки из-за этих проклятых «правдочек».

Кроме того, предостерег меня: кое-где у меня начинает намечаться, правда только намечаться, дурной актерский штамп. Я этого, правда, в себе никогда не замечал, но если это так, это дурное предзнаменование: ведь я всего полгода в театре работаю.

На этом беседа кончилась. Пауза в разговоре показала нам, что пора уже уходить. Мы попрощались, взаимно поблагодарили друг друга и удалились.

Где-то на дворе играли кремлевские куранты. Медленно зашагали по Леонтьевскому.

На этом, в буквальном смысле слова, обрываются записи в блокноте. Тогда мы с Иончиком убеждали друг друга, что это победа, причем победа настоящая, иначе «старик» не сказал бы, что с «моим» Хлестаковым можно выступать на любой русской сцене (а он действительно сказал, и почему этого нет в записках — ума не приложу), что есть в нем, правда, в моем Хлестакове, нечто «михаил-чеховское» (подумай, с кем сравнил-то!), а нужно больше «гоголевского», и что он, Иончик, по глазам Константина Сергеевича видел, что я ему понравился, что он всех и всегда критикует, что, наконец, не понравился я ему, он не слушал бы все до конца, прервал бы на полуслове и сказал бы: «Спасибо! Больше не надо». А так как этого не произошло, то надо готовиться к осени, и победа, окончательная победа, будет за нами.

С такими мыслями, в общем-то, скорее грустными, чем веселыми, я вернулся в Киев, к своим Мэшемам и Бронским.

В студию я так и не попал. К осени Станиславского не было уже в живых (я оказался последним человеком в его жизни, которого он пропустил), а на «мое» место приняли — «Совсем несправедливо!» — негодовал возмущенный Иончик — дочь знаменитого русского певца.

Театральная моя карьера так и не состоялась. И все же день 12 июня в моей жизни остался одним из самых значительных, незабываемых — великим днем.

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

В Сталинграде не часто, но появлялись все же журналисты и писатели. Об одном из них, широкому читателю мало известном, я написал небольшой рассказ «Новичок». Но это был, так сказать, случай экстраординарный, обычно же «люди пера» появлялись ненадолго и не всегда спускались ниже штаба армии.

Василий Семенович Гроссман бывал не только в дивизиях, но и в полках, и на передовой.

Был он и в нашем полку. Когда точно — не помню, во всяком случае после начала нашего наступления, так как ко времени его посещения мы уже читали и «Глазами Чехова» и «Направление главного удара».

К нам он попал не только потому, что мы сидели вплотную к знаменитым «бакам» на Мамаевом кургане, самом «западном» участке сталинградского фронта, но еще и потому, что его племянник, киевлянин Беньяш, стройный, чернокурчавый, отчаянно веселый и весело отчаянный парень, любимец всего полка, был командиром нашего первого батальона. Но встретиться с ним Гроссману не удалось: Беньяш погиб еще до начала наступления, погиб по-глупому, то ли от шальной пули, то ли от случайного осколка в тот редкий час, когда на фронте была тишина.

Мне в день, вернее ночь, приезда Гроссмана не повезло: не удалось встретиться с ним, хотя очень хотелось — газеты с его, как и Эренбурга, корреспонденциями зачитывались у нас до дыр. Именно в эту ночь меня направили поверяющим на передовую, и когда я вернулся, его уже не было: ушел в соседний полк.

Встретился я с Василием Семеновичем уже после войны в тихом, еще не популярном, не всесоюзном Коктебеле, когда в Доме писателей жило не двести — триста человек, как теперь, а тридцать — сорок, не больше.

Сначала мы просто здоровались, как отдыхающие в одном доме, — всем своим угрюмо-молчаливым обликом он не располагал к близкому общению. Гулял один, купался на самом краю широкого и длинного, знаменитого своими сердоликами коктебельского пляжа. Был нелюдим и одинок. Я смотрел на него издали с уважением, но подойти не решался.

Но как-то ночью, когда весь Коктебель затих и только отчаянно звенели цикады, я возвращался домой и на нижней террасе большого серого дома, где мы тогда жили, увидел тихо покуривающего в кожаном кресле человека.

Проходя мимо — я узнал в человеке Гроссмана, — я сказал что-то вроде «не спится?» или «покуриваем?». Он что-то ответил, то ли про звезды, то ли про цикад, и тут завязался вдруг разговор. Просидели мы так час, полтора. Ну, конечно, война, Сталинград, Треблинка. С этого ночного разговора и началась дружба, если можно назвать так отношения людей, живущих в разных городах и встречавшихся не очень-то часто.

Но в то коктебельское лето мы встречались ежедневно и говорили уже не только о Сталинграде и немецких концлагерях. Ничего угрюмого в Василии Семеновиче неказалось, только глаза за увеличивающими стеклами очков бывали часто грустными и задумчивыми. Но они умели и улыбаться, мягко и иронически. Он любил и понимал юмор — качество, без которого трудно и невесело жить.

Как-то кем-то затеяна была экскурсия в Судак на знаменитый завод шампанских вин «Новый свет». Там, мол, эвакуированные в свое время испанские дети, ставшие теперь взрослыми, делают шампанское по известному только им «секрету». Как и откуда они в свои пять—семь лет, когда их вывезли из Испании, умудрились узнать этот «секрет» — никому ведомо не было, тем не менее все мы сели в автобус и покатили в Судак.

Приехали. Завод как завод. Под землей подвалы. В подвалах бочки. В бочках шампанское. Насчет испанцев ничего сказать не могу, что-то не приметил. Насчет шампанского же... По дороге к подвалам, проходя мимо какой-то «забегаловки», Василий Семенович замедлил шаги и, слегка улыбнувшись глазами, сказал негромко:

— А что, если мы до этого самого шампанского...

До подвалов мы так и не дошли. Потом нам говорили, что там было очень интересно.

— Между прочим, шампанское — отнюдь не мой напиток, — признался Василий Семенович.

— И не мой, — согласился я, и мы заговорили о непревзойденных качествах польского самогона «бимбера».

Василий Семенович, как всякий застенчивый человек (а он был застенчив, то есть боялся казаться навязчивым, назойливым), после рюмочки несколько развязывался и не боялся уже «заговорить» собеседнику — боязнь, кстати, более чем необоснованная.

Говорил он всегда негромко, не любил фраз и превосходных степеней, как ни странно, но не очень любил вспоминать прошлое — удел большинства людей, переваливших за пятьдесят и много повидавших на своем веку (только в первую ночь мы вспоминали о Сталинграде), — в вопросах к собеседнику был сдержан и деликатен. Любой ненавистью ненавидел ложь, фальшь, лицемерие. На собственном горбу познав силу критики и все ее последствия, он никогда не жаловался, хотя и негодовал и продолжал верить в то, во что верил.

Я уже говорил, что встречались мы с ним не часто — после того лета отыхать вместе нам не пришлось, во время моих поездок в Москву встретимся раз, другой, не больше, поговорим по душам, и все. В Киев он не приезжал. Потом заболел, лег в больницу, и больше я его не видел.

Я часто задаю себе вопрос: что нас сблизило с Василием Семеновичем и что дает мне право называть его своим другом.

Как-то мы с ним заговорили о «писательстве» — кстати, ни он, ни я этой темой особенно не злоупотребляли. Но тут, заговорив о какой-то книге, написанной человеком бесталанным и изданной стотысячным тиражом, Василий Семенович сказал вдруг:

— Вот говорят: талант, талант... А что это такое? Кажется, Маттисс сказал, что талант — это труд. Так ли это? Ведь то, что мы с вами только что прочли, — это безусловно «труд». Написать двадцать четыре печатных листа (а он написал, я это знаю; другой вопрос — как над ними мучился редактор), но это труд, на это все-таки надо время потратить. Потом сверять перепечатанное, читать верстку. О содержании не говорю, это другой вопрос, я говорю, так сказать, о внешней стороне,

о технике, о том, что дает возможность таким людям... Впрочем, прости-те, я, кажется, начинаю уже говорить банальности, пошлости...

— Давайте и поговорим о пошлости. Ведь этот тип, написавший книгу, и есть пошляк!

— Стопроцентный притом... От слова «пошлó». И пошло, и пошло, и пошло. И от него кругами — пойдет, пойдет, пойдет... А он на этом набивает руку, становится профессионалом, ну и т. д.

Профессионал? Я насторожился. А что такое профессионал, про-фессионализм? Необходим ли он в искусстве? В писательском во всяком случае. Не мешает ли, не рождается ли от графомании, обогащающейся потом техникой, знанием приемов, вкусов, требований?

Все это я сказал Василию Семеновичу и как пример привел выска-зывания одного очень хорошего человека и писателя, которого я тоже осмеливаюсь считать своим другом, несмотря на еще большую разницу в летах, чем с Василием Семеновичем.

— Так вот, этот убеленный сединами и опытом человек, написавший много хороших книг, сказал мне как-то:

— А знаете, почему нам не скучно друг с другом? Не потому, что мы оба — вы мне, а я вам — можем поведать то, чего другой не знал или не видел. Нет, не поэтому. Просто — только никому не говорите о сказанном вам одним видавшим виды стариком,— просто потому, что мы с вами в литературе не профессионалы, а любители. Да, да, хотя и живем как профессионалы, гонорарием интересуемся.

И мой собеседник заговорил о профессионализме. Это, может быть, и неплохо, даже нужно, возможно даже, он и сам хотел бы быть профес-сионалом... Хотя бывает и так, что писатель пишет, пишет каждый день, но все кровавым потом. Не чернилами, не карандашом, не кровью серд-ца, а именно кровавым потом!..

— Не могу я так, «ни дня без строчки» — не мой, не наш с вами девиз. Все сказанное, конечно, ересь, но что поделаешь: оба мы с вами еретики.

Василий Семенович рассмеялся, а я поспешил добавить, что разде-ляю точку зрения своего друга-еретика. Не отваживаюсь, мол, осуждать ни то, ни другое — ни «профессионализм», ни «дилетантизм», — просто второе мне, по-видимому, ближе. «Ни дня без строчки» — это, возможно, гимнастика, тренаж, если хотите, утренняя зарядка, но я все же за то, чтоб писать, когда хочется или когда, как кажется тебе, об этом нельзя написать.

— Со вторым согласен, — сказал серьезно Василий Семенович, — а вот первое — «хочется»... — тут меня одолевает некое сомнение. А если «не хочется», а надо, нельзя не написать? Тут-то и приходит, очевидно, на выручку профессионализм или, если это слово вас отпугивает, потреб-ность писать. Я — за потребность и за то, чтоб она была всегда.

— А если она мешает другой потребности? Вот у меня сейчас по-требность заплыть подальше в море, а не писать. Или забраться на Сюрю-Кая. Может, я первоклассный альпинист и покрою когда-нибудь Эверест? Что такое профессия и нужно ли иметь обязательно одну? Ме-шала ли Чехову-писателю его другая профессия — врача? Или помога-ла? И какое из этих призваний он, Чехов, считал более важным? А кем был Гарин — в первую очередь инженером-путейцем или писателем? А Бородин? Крупнейшим химиком или автором «Князя Игоря»?

— Я, между прочим, — перебил меня, понизив почему-то голос, Василий Семенович, — тоже вот химик по образованию. Правда, не слиш-ком крупный. А вы архитектор и в театре, если не ошибаюсь, лицедейст-вовали...

— Было такое. И не начнись война — строил бы сейчас дома или изображал бы негодяев на сцене — мне почему-то всегда они доставались. Но война помешала...

— А может, помогла?

— В чем? Стать сапером-профессионалом?

— Ай-ай-ай, не к лицу вам кокетничать.— Василий Семенович похлопал меня по плечу.— Кстати, нескромный вопрос, не люблю, когда мне его задают: вы над чем-нибудь работаете сейчас?

— Да, работаю.— Я корпел тогда над «Родным городом».

— Ну вот и работайте. А потом в море или на Эверест... И поменьше думайте о Бородине и Гарине.

На этой столь несвойственной Василию Семеновичу поучительной фразе и закончился наш запомнившийся мне разговор о «профессионализме», из которого я понял, что он определенно «за»...

И вот возник у меня теперь, когда Василия Семеновича уже нет в живых, вопрос: почему же нам с ним — повторяю слова «видавшего виды еретика» — не было скучно друг с другом при столь разном отношении к своей работе? Как ответил бы на это Василий Семенович — не знаю и никогда не узнаю. Я же со своей стороны могу сказать: мне с Василием Семеновичем было «не скучно» просто потому, что не может быть скучно с человеком, в котором покоряли прежде всего не только ум его и талант, не только умение работать и по собственному желанию вызывать «хотение», но и его невероятно серьезное отношение к труду, к литературе. И добавлю: такое же серьезное отношение к своему... ну, как бы это сказать... к своему, назовем, поведению в литературе, к каждому сказанному им слову. И в этом не было ни грана высокомерия, ни грана зазнайства — писать он считал своим долгом и долг этот выполнил до конца.

Когда я беру в руки карандаш и начинаю водить им по бумаге, я часто задаю себе вопрос: а как отнесся бы к этому месту Василий Семенович? И если, на мой взгляд, неодобрительно — вычеркиваю безжалостно.

* * *

Чтоб закончить о «профессионализме». Со дня нашей беседы прошло лет пятнадцать, если не больше. Многое за это время переосмыслилось. И на «профессионализм» я смотрю чуть-чуть иначе. Он безусловно необходим, но, если можно так выражаться, не надо им увлекаться. К знаменитому «ни дня без строчки» я добавил бы: «Но не делай ни из дня, ни из строчки культа». Культ — вещь опасная.

ПАУСТОВСКИЙ

Получилось так, что пути наши с Паустовским до определенного времени нигде и никогда не пересекались. В московской суете, для провинциала особенно утомительной и бесполковой, никак не выкraивалось время познакомиться (да и как это сделать, позвонить и, как говорят: «Здрасте, я ваша тетя?»), а когда выкraивалось (ну вот, сегодня позвоню и скажу), оказывалось — он в Тарусе или Ялте. Когда же мы с матерью приезжали в Ялту (обычно в середине мая), выяснялось, что Константин Георгиевич всю зиму прожил в этой вот комнате и только недели, как уехал. Не везло.

И вот в один прекрасный вечер затрезвонил по-междугородному телефон. Москва. Говорит Паустовский. Слегка балдею... Спрашивает, не собираюсь ли в Москву. Нет, а что? Да ничего, просто захотелось вдруг

позвонить и сказать, что, если буду в Москве, чтобы обязательно зашел к нему, Паустовскому. Надо же в конце концов познакомиться.

Надо. Я взял билет и полетел в Москву. Знакомиться с Паустовским. Других дел у меня не было.

Я, как огня, боюсь искусственных знакомств. Мы с моим другом детства Яковом Михайловичем Светом любим вспоминать, как бездарно происходило наше знакомство. Его папа — интеллигент в пенсне, с бородкой — пришел как-то к нам. Дверь открыл ему я.

— Здесь живет доктор Некрасова?

— Да, но ее нет дома.

— А вы ее сын?

— Да.

— Тогда я, собственно, к вам.

— ?

— Мы недавно только приехали в Киев. Я с женой и наш сын Яся, ваш ровесник. Вам ведь пятнадцать?

— Пятнадцать.

— Ну вот и прекрасно. У Ясика пока еще нет здесь знакомых, и он очень скучает. Я обратился к швейцару Герасиму за советом, с кем из детей какой-нибудь интеллигентной семьи в этом доме я мог бы познакомить своего Ясику. Герасим направил меня к вам.

Этого еще недоставало... Дитя из интеллигентной семьи...

Через несколько минут мы с Ясей — два «интеллигентных» мальчика в коротких еще штанишках — стояли на нашем балконе и вяло задавали друг другу вымученные вопросы. «Где вы учитесь? В какой группе? Нравится ли вам Киев? А в Крыму бывали, я как раз сейчас из Крыма... Плаваете ли вы?»

Оба мы друг другу не понравились. Беседа продолжалась не более пяти — семи минут. Больше он не приходил, и я о нем забыл, пока как-то недели через три он не прибежал ко мне за угольником (он куда-то провалился, весь дом обшарил...), и с этого-то угольника и началась наша дружба — не разлей водой. С ним-то мы издавали газету «Радио» 1979 года (уже не за горами!), воевали с англо-американской коалицией) в Аляске, находили неразложившиеся тела доисторического человека в раскопках киевского макарьевского спуска, писали детективные романы с продолжением, высаживались на Марс и, несмотря на посредничество папы и Герасима, дружим до сих пор.

Сидя в самолете и мысленно представляя себе свое появление у Паустовского, я невольно вспомнил свое знакомство с Ясей. «Над чем вы сейчас работаете, Константин Георгиевич? А вы? А почему вы не приезжаете в Киев, ведь Киев для вас... Да вот все собираюсь...»

Но этого не произошло. Произошло другое. Стол, вино, люди, много людей, тосты, литературные разговоры, сбивчивые споры. Константин Георгиевич, несколько ошарашенный, сидел на краю стола и, приветливо, утомленно улыбаясь всем, пил чай. Я, несколько выпив, громко и упрямо доказывал что-то кому-то из молодых, тоже подвыпившему и тоже громко и упрямо не соглашавшемуся. И так до часу ночи. Шум, гам и ни одного толкового слова друг другу. Так и произошло наше знакомство, захиревшее, не успев распуститься. «Будете в Москве, обязательно заходите... Вот тогда и поговорим... А вы к нам, в Киев... Конечно, конечно, теперь есть предлог...»

Но больше я к Паустовскому не заходил, и в Киев, несмотря на предлог, Константин Георгиевич тоже не приезжал.

«Угольником» оказалась Франция.

До поездки туда — было это в конце 1962 года — Паустовский пере-

нес инфаркт, и все мы несколько тревожились за него. Поехали с ним его жена с дочерью Галей.

Во Франции Паустовский был впервые, языка не знал, поэтому я, во Франции все же бывавший и по-французски немного говоривший, мог быть ему в чем-нибудь, где-нибудь полезен. В многолюдном, шумном Париже встречались, мы, правда, преимущественно на всяких «мероприятиях» или вечером, в номере, уже без задних ног. Сблизились, поговорили без суеты, тостов и гостей и, как мне кажется, полюбили мы друг друга (я во всяком случае) во время путешествия по Провансу.

По складу своего характера Константин Георгиевич был человеком, для которого места, связанные с чьим-нибудь близким ему именем, имели определенное значение. Поэтому ему очень хотелось побывать в Нормандии, в родных местах Флобера. Но мы, в частности я и Галя, упоенные, но еще не отравленные «ядом» Парижа, не хотели с ним расставаться и подговорили нашего шоferа расписать в самых мрачных красках всю сложность и даже опасность езды зимой по обледеневшим нормандским дорогам. Коварный план удался: Нормандия была отставлена, Париж продолжен, а вместо севера мы поехали на юг — Авиньон, Арль, восточная часть Средиземноморья (рыбацкие поселки Сент-Мари-де-ла-Мер и Гро-дю-Руа). Насколько я понимаю, Константин Георгиевич огорчен этим маршрутом не был.

Несмотря на преклонный возраст и перенесенную болезнь, Паустовский был неутомим. Часами бродил среди тесно прижавшихся друг к другу средневековых домов «папского» Авиньона, карабкался по извилистым, в древних булыжниках, крутым подъемам «кардинальского» Вильнёв-лез-Авиньон, скользил, но не сдавался на мокрых ступеньках полуразрушенных крепостных башен. Все хотел видеть, ничего не пропускал и ни от кого не отставал. Никогда ничего не записывал, не фотографировал (фотографом обычно был я), не заглядывал в путеводитель — просто наслаждался. Красотой, древностью, тишиной. Как настоящий художник, он воспринимал красоту как красоту, ему дороже было непосредственное восприятие увиденного, чем знание того, кто, когда и почему велению построил этот замок или какой король и с кем изменял королеве на этой кровати с балдахином и вечными амурчиками.

Вдоволь находившись и насмотревшись, утомленные и переполненные увиденным, к тому же голодные, устраивались в какой-нибудь таверне из наименее шикарных.

И вот тут-то Константин Георгиевич и начинал рассказывать. Рассказывать он умел. И вспоминать тоже умел. А о чем вспоминать — хватало. О литературе как таковой; о том, как надо писать и как плохо, мол, пишут сейчас, в противоположность людям его положения и возраста, не говорил никогда. А вот о дореволюционном или первых дней революции Киеве или Москве — рассказывал с увлечением, с обилием очаровательных деталей, которые мне всегда очень дороги. Он хорошо помнил то, что и я еще немного захватил. Памятник Николаю I против университета, который я помню уже поверженным — импозантная фигура царя долго лежала у подножия пьедестала, и мы, мальчишки, до блеска отполировали его бока своими штанами. И бронзового Столыпина перед городской думой — «от благодарного Юго-Западного края», — перебазировавшись с Крещатика на Кузнецкую, прославленный министр долго еще, несколько лет, выглядывал из-за забора маленького домика с садом, где жили наши знакомые. Помнил гипсовую княгиню Ольгу, графа Бобринского в римской тоге, где высится сейчас памятник Щорсу, и многое-многое другое. Улицы все он называл по-старому, начала века. Столыпинскую улицу называл Мало-Владimirской (потом она стала Гершуни, Ладо Кецховели, теперь Чкалова), Большую Подваль-

ную — Ярославовым Валом (чудесное это название так и не вернулось после многоократных переименований — Ворошилова, Полупанова, теперь Большая Подвальная).

В нынешнем, послевоенном Киеве с новым, переполненным «излишествами» Крещатиком Паустовский не был. Многое его бы обрадовало: парки и сады буйно разрослись, позеленел, обретя бульвар, и сам Крещатик, стройными (заменившими старые, еще при Николае I посаженные и от старости потерявшие форму) пирамидальными тополями омолодился бывший Бибиковский бульвар, ныне Тараса Шевченко. Новые массивы, когда-то деревушки за пределами города, новые дома, мосты через Днепр, озаренные вечером таинственным светом, далеко видные из Заднепровья, сияющие золотыми куполами Лавра, Выдубецкий монастырь, Андреевская церковь... Но кое-что и огорчило бы. Не порадовала бы шестнадцатиэтажная громадина в самом центре города, против Оперного театра, задавившая собою всю Владимирскую улицу — центральную, красивую, зеленую, четырех-пятиэтажную, очень киевскую, чудом сохранившуюся после немцев. (Не знаю, как москвичей, но меня Новый Арбат, Калининский проспект просто пугает: он раздавил окрестные, уютные старомосковские переулочки, лавиной обрушился на Спасопесковский «Кружок», поленовский «Московский дворик», проглотил Собачью площадку; пугает и гостиница «Россия», ставшая теперь фоном Василию Блаженному вместо необозримого неба, особенно незабываемого в часы заката; пугает и новый «Националь» на улице Горького...) Вот так же происходит и с Владимирской.) Но, в общем-то, Киев стал, конечно, лучше и красивее довоенного, хотя людей и машин стало слишком много, особенно летом, особенно на Крещатике. Но, приедь в Киев Константин Георгиевич, мы гуляли бы с ним не по Крещатику, и в Пассаж («Детский мир», толпы, очереди, лотки, «выбросили кофточки») мы заходили бы только, чтоб пройти ко мне на вечерний чай с самоваром, правда современным, электрическим.

Но самое интересное в рассказах Паустовского — это, безусловно, были люди. Видел он их, знаменитых и не знаменитых, за свою долгую жизнь великое множество и в каждом умел найти что-то свое, особенное. Может быть, кое-что он даже и придумывал, присочинял, но придумывал это художник, человек талантливый, поэтому получалось хорошо и интересно.

К слову сказать, я недавно познакомился и даже сдружился с одним очень молодым поэтом. Талантливым. И не только в поэзии. В силу семейных обстоятельств он в свои двадцать лет побывал и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Монголии, и в Средней Азии (где научился арабскому), и в Москве, теперь в Киеве. И обо всем — охоте на медведей, старообрядцах, золотоискателях, студенческой жизни в новосибирском Академгородке — рассказывает так увлекательно, что хочется все бросить, купить билет и двинуть куда-нибудь в Душанбе или на монгольскую границу. Кроме того, он перевел на русский Омара Хайяма. В бумагах одного из декабристов в Иркутске раскопал тексты неизвестного французского поэта XVI века Поля де Нека, не упоминаемого ни в одном из французских словарей. Раскопал и перевел. Превосходнейшие стихи (и перевод тоже). Ах, какой поэт, какой поэт! И ведь XVI век! И почему никто не знает? И вот как-то выяснилось почему. Да потому, что мой юный друг всю эту историю от начала до конца сочинил. И стихи сочинил. И то и другое — и стихи, и рассказ о них — было талантливо. И я простил ему его милую мистификацию.

Многие, знавшие Паустовского, вспоминают о нем как об интересном собеседнике — «до глубокой ночи сидели и слушали его рассказы...». По чести признаться, я таких собеседников, мастеров рассказа (обычно

сработанного заранее), боюсь смертельно. Боюсь монологов, особенно в устах людей заслуженных,уважаемых, которых не перебьешь... Константин Георгиевич не был врагом монологов (кстати, не только своих, но и чужих), но не перебивал я его не только из уважения, а просто потому, что было интересно.

Меня огорчало другое, что иногда случалось. Начнет он, например, рассказывать, как всегда не торопясь, с милыми своими деталями:

— Как сейчас помню. Было это в Одессе. В тысяча девятьсот... девятьсот... девятьсот семнадцатом... нет, девятьсот восемнадцатом году, уже советская власть была... Сидим мы на Приморском бульваре; тогда его называли еще по-старому Николаевским, а потом он стал Фельдмана... Сидим у памятника Пушкину — я, Бабель, Катаев...

И тут вдруг (где-нибудь в Арле, в симпатичном ресторанчике, недалеко от римской арены) жена Паустовского, Татьяна Алексеевна, человек бесконечно и по-настоящему преданный и любящий Константина Георгиевича, но, очевидно, слышавшая эту историю не один раз (я ни разу), к тому же основательно проголодавшаяся (мы с Константином Георгиевичем тоже), перебивает:

— Костя, Костя! Да подзови же ты ее, она там уже с каким-то красивчиком флиртует... Я тебе говорю, Костя...

«Костя» или я подзываю «ее» (флиртовала она не более сорока секунд), на столе появляется нечто дымящееся и сверхъестественно вкусное, но нить рассказа прервана, Константин Георгиевич никнет, и я так и не узнаю, чем занимались у памятника Пушкину Бабель, Паустовский и Катаев. В этих случаях я всегда очень ему сочувствовал: со мной часто случается такое же. Начнешь что-нибудь рассказывать «к слову», так сказать, тебя перебьют, а потом уже и не получается «к слову».

Но когда мы бывали вдвоем, я его не перебивал: мне было интереснее слушать, чем говорить.

И еще мне нравилось в Константине Георгиевиче какое-то его мальчишество.

— Давайте, давайте снимемся на фоне этих рогов,— говорил он в пустующем зимой тореадорском «трактирчике», от пола до потолка увешанном «рогами и копытами».

— Дайте Ольге Леонидовне ваш аппарат, и пускай она нас снимет.— И с детской радостью принимал позу под видавшими виды и мадорские зады рогами.

В нем не было этой ложной скромности — «ах, пожалуйста, уберите эту штуку, ненавижу, когда меня снимают». Поэтому у меня сохранилось много фотографий Константина Георгиевича. И среди них особенно мне дорогая, где мы сидим с ним вдвоем на каком-то каменном парапете форта Сент-Андрэ, а за нашей спиной раскинулся древний Авиньон с папским дворцом и колючими колокольнями соборов.

В Марселе я малость повздорил с Татьяной Алексеевной (виноват был я), и весь обратный путь в Париж мы провели в молчании, очень всех нас тяготившем.

С тех пор прошли уже годы. О нелепой этой «ссоре» вскоре, конечно, забыли, и в последующие годы в Ялте наши «контакты» успешно развивались. Мучившая его астма и прочие хвори не позволяли ему гулять, но как приятно было заглянуть к нему, в его всегда заставленную цветами и фруктами комнатку, или посидеть в плетеных креслах на большой террасе, увитой виноградом.

В последнее лето, когда мы отдыхали вместе (в 1966 году), группа ленинградских киношников снимала фильм о Паустовском. Промелькнул там и я, в день его рождения, среди поздравлявших его друзей и поклонников. Фильма этого я не видал, зато однажды «услышал». Сидел

как-то на балконе и что-то писал: Тишина, солнце, вдали море, птички чирикают. В другом кресле под зонтиком мама читает французский роман. И вдруг тишину нарушает голос Паустовского. Громкий, очень даже громкий и невероятно назойливый, что совсем несвойственно было его манере разговора. Длилось это довольно долго, потом в беседу вступил кто-то другой, с голосом еще более противным. Я не выдержал и спустился вниз посмотреть, что там, в саду, происходит. Оказывается, это киношники пробовали свою фонограмму, примостившись на скамеечке в парке, а второй, особенно противный и мешавший мне работать голос оказался ни больше, ни меньше, как моим собственным, поздравляющим...

После того лета я больше Константина Георгиевича не видел. Как память остались книги, болгарская иконка, подаренная им маме ко дню ее рождения, и фотография — громадный букет роз, он и я на террасе в день его семидесятичетырехлетия — с трогательной надписью, заканчивающейся словами: «До встречи в Толедо. На корриде!!»

Но ни в Толедо, ни в другом каком-либо месте нам встретиться уже не пришлось.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О союзе рабочего класса и крестьянства. 280 стр. Цена 50 к.
Героини. Очерки о женщинах — Героях Советского Союза. В двух выпусках. Выпуск 1. 447 стр. Цена 96 к. Выпуск 2. 463 стр. Цена 98 к.

Г. Кржижановский. Мыслитель и революционер. 40 стр. Цена 5 к.

Международное Совещание коммунистических и рабочих партий. Документы и материалы. Москва, 5—17 июня 1969 г. 352 стр. Цена 59 к.

Справочник пропагандиста-международника. 270 стр. Цена 47 к.

«МЫСЛЬ»

В. Афанасьев. Об интенсификации развития социалистического общества (Проблемы взаимодействия науки, техники и управления). 149 стр. Цена 45 к.

Е. Журбина. Теория и практика художественно-публицистических жанров. Очерк. Фельетон. 389 стр. Цена 1 р. 47 к.

Научно-техническая революция и общественный прогресс. Сборник. 397 стр. Цена 1 р. 42 к.

Планирование и хозяйственная реформа. Сборник. 166 стр. Цена 53 к.

В. Подмарков. Социальные проблемы организации труда. 214 стр. Цена 79 к.

Развитие экономического сотрудничества социалистических стран. Сборник. 183 стр. Цена 58 к.

Ф. Талыгин. Секреты природы. 191 стр. Цена 57 к.

«ЭКОНОМИКА»

С. Демидов, П. Васильев. Методологические основы планирования сельского хозяйства. 407 стр. Цена 1 р. 71 к.

Н. Иванов. Народнохозяйственные пропорции, фактор времени, темпы (Вопросы экономики капитальных вложений). 182 стр. Цена 86 к.

П. Ивасенко. Совершенствование коллективной оплаты труда рабочих. 120 стр. Цена 38 к.

Е. Юферева. Ленинское учение о госкапитализме в переходный период к социализму. 223 стр. Цена 1 р. 6 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Атаджанов. Искры мигают звездами. Стихи. Перевод с туркменского. 63 стр. Цена 23 к.

В. Беспалый. Гомон степей. Роман. Перевод с украинского И. Карабутенко. 279 стр. Цена 57 к.

А. Дейч. День нынешний и день минувший. Литературные впечатления и встречи. 311 стр. Цена 35 к.

Р. Извесев. Память и время. Стихи (1965—1967 гг.). 151 стр. Цена 36 к.

В. Казанский. Утренник. Стихи. 111 стр. Цена 29 к.

В. Казанцев. Дочь. Стихи. 104 стр. Цена 26 к.

А. Кушнер. Приметы. Третья книга стихов. 112 стр. Цена 28 к.

И. Науменко. Ветер в соснах. Перевод с белорусского М. Горбачева. 344 стр. Цена 60 к.

Ю. Смирнов. Обруч. Книга стихотворений. 68 стр. Цена 20 к.

А. Тарновский. Вестник. 291 стр. Цена 78 к.

В. Финк. Иностранный легион. Судьба Анри Ламбера. Романы. 527 стр. Цена 1 р.

П. Цвицба. Сказочный поезд. Стихи и поэма. Перевод с абхазского. 100 стр. Цена 26 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Вечерний витраж. Рассказы. Перевод с польского. Вступительная статья М. Слуцкиса. 264 стр. Цена 73 к.

С. Кладиашвили. Далекие зарницы. Рассказы. Перевод с грузинского. 302 стр. Цена 65 к.

Абэ Кобо. Женщина в песках. Чужое лицо. Перевод с японского («Зарубежный роман XX века»). 365 стр. Цена 1 р. 11 к.

Т. Манн. Будденброки. История гибели одного семейства. Перевод с немецкого Н. Мана («Библиотека всемирной литературы»). 640 стр. Цена 1 р. 75 к.

Н. Панов. Воцман с «Тумана». Повесть. Колокола громкого боя. Роман. 564 стр. Цена 1 р. 26 к.

Л. Сейфуллина. Собрание сочинений. В 4-х томах. Том 4. Очерки и статьи 1918—1954. 430 стр. Цена 85 к.

В. Тушнова. Лирика. 352 стр. Цена 93 к.

М. Урнов. Томас Гарди. Очерк творчества. 151 стр. Цена 39 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Андроников. Рассказы литературоведа. 456 стр. Цена 2 р. 2 к.

Ван Линь. Дальние края. Повесть. Перевод с вьетнамского. 111 стр. Цена 29 к.

Р. Гамзатов. Горянка. Поэма. Перевод с аварского. 175 стр. Цена 57 к.

Лунный мальчик. Стихи современных французских поэтов. Перевел М. Кудинов. 24 стр. Цена 27 к.

С. Михалков. На родине В. И. Ленина. Стихи. 31 стр. Цена 24 к.

М. Садовяну. Чудесная дубрава. Сказки. Перевод с румынского. 64 стр. Цена 10 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Айлисис. Люди и деревья. Повести. Перевод с азербайджанского. 208 стр. Цена 29 к.

В. Брюсов. Избранная лирика. 32 стр. Цена 10 к.

И. Зиедонис. Избранная лирика. Предисловие В. Лукса. Перевод с латышского. 32 стр. Цена 11 к.

И. Козлов. Наш последний и решительный. Повесть. 334 стр. Цена 68 к.

И. Коцюбинская. Михаил Коцюбинский. Перевод с украинского («Жизнь замечательных людей»). 192 стр. Цена 62 к.

В. Кузнецов. Избранная лирика. 32 стр. Цена 11 к.

М. Луконин. Лирика. 176 стр. Цена 76 к.

Л. Мартынов. Людские имена. Стихи. 160 стр. Цена 60 к.

Ю. Нагибин. Чужое сердце (Современная сказка). 350 стр. Цена 67 к.

М. Румянцева. Избранная лирика. 31 стр. Цена 12 к.

Л. Самойлов и М. Вирт. Охота за Святым Георгием. Повесть. 142 стр. Цена 16 к.

С. Сартаков. Первая встреча. 158 стр. Цена 34 к.

«НАУКА»

Историческая наука и некоторые проблемы современности. Статьи и обсуждения. 430 стр. Цена 1 р. 89 к.

Китай сегодня. 336 стр. Цена 1 р. 6 к.

Р. Липец. Эпос и Древняя Русь. 302 стр. Цена 1 р. 16 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

К. Ваншенкин. Проза. 448 стр. Цена 86 к.

Ю. Грибов, А. Лазебников, О. Опарин. За строкой биографии В. И. Ленина. 144 стр. Цена 98 к.

Н. Задонский. Донские вечера. Исторические этюды. 208 стр. Цена 38 к.

Е. Ржевская. Спустя много лет. Повесть. 96 стр. Цена 19 к.

И. Удалов. Повесть о балтийских разведчиках. 160 стр. Цена 31 к.

«ИСКУССТВО»

М. Аллатов. Матисс. 105 стр. Цена 4 р. 60 к.

Ф. Дюрренматт. Комедии. Перевод с немецкого. 512 стр. Цена 1 р. 34 к.

В. Миронова. Константин Скоробогатов. 120 стр. Цена 39 к.

Театральные страницы. 1969. Составитель Б. Зингерман. 540 стр. Цена 1 р. 89 к.

Б. Федоров. Кирилло-Белозерский монастырь («Памятники древнерусского зодчества»). 103 стр. Цена 1 р. 92 к.

«ПРОГРЕСС»

Х. Исарай. Развалины крепостной стены. Роман. Перевод с испанского. 272 стр. Цена 77 к.

Д. Олдридж. Пленник чужой страны. Опасная игра. Романы. Перевод с английского. 622 стр. Цена 1 р. 94 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Д. Ватман, В. Елизаров. Адвокат в гражданском процессе. 200 стр. Цена 62 к.

Г. Симоненко. Выплаты работникам, утратившим трудоспособность на производстве (Правовые вопросы). 168 стр. Цена 53 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Воронеж. Гравюры на дереве А. Калашникова. Предисловие Г. Троепольского. Стихи В. Гордейчева. Воронеж. «Коммуна». 45 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Гира. Бабье лето. Роман. Перевод с литовского В. Чапайтиса. Вильнюс. «Вага». 372 стр. Цена 71 к.

Г. Езерская. Живые, трепетные нити... Яснополинские этюды. Тула. Приокское книжное издательство. 46 стр. Цена 7 к.

В. Зайцев. Между львом и драконом. Дубровницкое Возрождение и эпическая поэма Гундулича «Осман». Минск. «Наука и техника». 164 стр. Цена 71 к.

А. Имерманис. Рига — Москва. Стихи. Рига. «Лиесма». 111 стр. Цена 32 к.

В. Костиюк. Трилогия Уильяма Фолкнера. Под редакцией М. Бобровой. Саратов. Издательство Саратовского университета. 102 стр. Цена 18 к.

Ш. Курбанов. Этапы развития азербайджанско-русских литературных связей в XIX веке. Баку. «Азернешр». 310 стр. Цена 78 к.

Песни, сказки, частушки Саратовского Поволжья. Саратов. Приволжское книжное издательство. 347 стр. Цена 1 р. 64 к.

А. Русакова. Томас Манн в поисках нового гуманизма. Ленинград. Издательство Ленинградского университета. 159 стр. Цена 64 к.

В. Соснора. Всадники. Стихи. Предисловие Д. Лихачева. Ленинград. Лениздат. 111 стр. Цена 46 к.

Главный редактор А. Т. Твардовский

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 30/VII 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 29/IX 1969 г.
Формат бумаги 70×108^{1/4}. 27,5 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 10813. Зак. 2646. Тираж 127.200 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., д. 5.